

Анна
Матвеева

Каждые сто лет

Роман с дневником

ФИНАЛИСТ ПРЕМИЙ
«БОЛЬШАЯ КНИГА»
И «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЕР»



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Проза Анны Матвеевой

Анна Матвеева

**Каждые сто лет.
Роман с дневником**

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Матвеева А. А.

Каждые сто лет. Роман с дневником / А. А. Матвеева —
«Издательство АСТ», 2021 — (Проза Анны Матвеевой)

ISBN 978-5-17-134082-7

Анна Матвеева — автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», сборников рассказов «Спрятанные реки», «Лолотта и другие парижские истории», «Катя едет в Сочи», а также книг «Горожане» и «Картинные девушки». Финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». «Каждые сто лет» — «роман с дневником», личная и очень современная история, рассказанная двумя женщинами. Они начинают вести дневник в детстве: Ксеничка Лёвшина в 1893 году в Полтаве, а Ксана Лесовая — в 1980-м в Свердловске, и продолжают свои записи всю жизнь. Но разве дневники не пишут для того, чтобы их кто-то прочёл? Взрослая Ксана, талантливый переводчик, постоянно задаёт себе вопрос: насколько можно быть откровенной с листом бумаги, и, как в детстве, продолжает искать следы Ксенички. Похоже, судьба водит их одними и теми же путями и упорно пытается столкнуть. Да только между ними — почти сто лет...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134082-7

© Матвеева А. А., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Часть первая	6
Утопленница	7
Ин дер Швайц	8
Львиный камень	9
Найди пять отличий	10
Курская линия	11
Дух мой	12
Философия Ксенички	13
Нет, Марина, нет!	15
Александр Сергеевич не Пушкин и другие	17
Ольга и Шопен	19
Долматовы и Шаверновские	21
Игра в маньяка	23
Лелива	25
Неблизкие родственники	27
Comme tu es laide!	29
Семечки	33
Директорская дочка. Антон Деникин	38
Красное кольцо	40
Первый бал Евгении Лёвшиной	43
Что случилось с Ольгой	45
Болтава	50
Похороны	51
Дом Пашенко	53
Княжна Тараканова	55
Полтавская битва	61
«Галантерея-Трикотаж»	64
«Истории»	74
Сестра	77
Старые слёзы	81
Перстень и цепочка	83
Где варенье?	86
Чужие дневники	89
Часть вторая	90
Втёмную	91
Скользкий полоз	93
На солнце	95
«Сия девица отменно хороша...»	99
Швейцарский нож	101
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Анна Матвеева
Каждые сто лет. Роман с дневником

*Светлой памяти моей бабушки
Ксении Михайловны Лёвиной*

Часть первая

Ксана и Ксеничка

Обстоятельства не имеют большого значения, вся суть – в характере; тщетно порываем мы с предметами и существами внешнего мира, порвать сами с собой мы не можем. Мы меняем своё положение, но в каждое из них мы переносим те муки, от которых надеялись избавиться, а так как перемена места не исправляет человека, то оказывается, что мы только присовокупляем к сожалениям угрызения совести, а к страданиям – ошибки.

Бенжамен Констан. «Адольф» (перевод А. Кулишер)

Как известно, кто счастлив, молчит.

Роберт Вальзер (перевод С. Анта)

Утопленница

Полтава, май 1893 г.

Я некрасива и знаю это.

Для девочки быть некрасивой – обидно, сознавать такое тоже невесело. Тебе всего девять, а ты уже точно знаешь, что не вырастешь в красавицу...

У меня треугольное бледное лицо. Излишне пухлые губы. Глаза – серые, это неплохо, создаёт контраст с тёмными длинными волосами. Волосы заплетают в косу, но они пушистые, выбиваются. И самое ненавистное – нос. Большой, не изящной формы: не нос, а целое испытание, которое, как говорит мама, «придётся переживать до конца своих дней».

При этом я не урод, всего лишь некрасива, и родители меня всё же немного любят. Я младшая дочь действительного статского советника Михаила Яковлевича Лёвшина. Мы не бедны, но вовсе не богаты, и об этом тоже не следует забывать.

Наша знакомая, Елена Фёдоровна Абаза, видит, что я некрасива, но всякий раз пытается сказать что-то приятное. Папа произносит ей комплименты и целует ручки.

– Ксеничка напоминает мне Офелию, – говорит Елена Фёдоровна.

Отец переспрашивает:

– Кого напоминает?

– Невесту Гамлета.

Я побежала к маме, она готовила посуду для чая.

– Кто была Офелия? Принцесса?

– Откуда ты её взяла?

– Елена Фёдоровна сказала, я на неё похожа.

– О господи! Выдумают же! Офелия была красавица, а ты дурнушка.

– А почему Елена Фёдоровна сказала?

– Вот уж не знаю почему.

– А Офелия вышла замуж за Гамлета?

– Она сошла с ума и утонула в ручье!

Ин дер Швайц

Свердловск, июнь 1980 г.

– Ин Франкрайх. Ин Индиен. Ин Полен. Но! Ин дер Швайц!

Быля швыряет на стол зелёный словарик. Поднимает и снова швыряет. Странички всхлипывают. Я тоже.

– Ин! Дер! Швайц!

Мне десять лет. Я *беспросветно глупа, да ещё и без памяти.*

Платье у Были – в крупную мутную клетку. Меня от этой клетки подташнивает. Минутная стрелка настенных часов халтурит. А часовая вообще не работает.

Моя бабушка, как утверждает папа, знала немецкий *в совершенстве*. Бабушка давно умерла, я никогда её не видела, но сказала, что буду учить этот язык, и у папы тогда слёзы стояли в глазах без всякого смеха.

Теперь немецкий мне надоел. Но мама говорит, что надо быть последовательной. Поэтому – *Ин! Дер! Швайц!*

К счастью, Быля приходит только два раза в неделю.

Львиный камень

Полтава, июнь 1893 г.

Отец гордится своим происхождением и требует, чтобы мы тоже им гордились. «Ваши предки легли на Куликовом поле!» Лёвшины были столбовые дворяне по Шестой родословной книге, записаны наравне с Рюриковичами и другими славными фамилиями.

Про чужих предков – всегда скучно, другое дело – свои. Наш род пошёл от немецкого рыцаря Сувола Лёвенштейна, также его называли Сцеволом, как Гая Муция, который стерпел боль, вложив руку в горящий на алтаре огонь. Как же ему подходит это имя – Муций! В нём звучат муки – непритворные, истинные.

Наш Сцевол был младший брат феодального графа Кальвского, родом из Швабии. Папа римский Урбан невзлюбил Сцевола за «прилепление предков своих к цесарям швабского дому», и тот отправился искать лучшей доли сначала в Ригу, а затем в Северо-Западную Русь. В Россию Сцевол Лёвенштейн – фамилия переводится как «Львиный камень» – прибыл в 1365 году, и с ним было двенадцать рыцарей. Словно Зигфрид в сверкающих латах, он явился в Новгород. И стал зваться Суволом Левшой. Или Лёвштиным. Но русскому языку трудно выговорить «Лёвштин» – вот так мои предки стали Лёвшинами.

А дальше славному роду дворянскому, о котором нам так долго и внушительно рассказывает отец, предстояли многие подвиги.

Найди пять отличий

Свердловск, июль 1980 г.

Я точно знаю, что отличаюсь от других, и мне это не нравится. Мне хочется быть такой же, как моя подруга Варя, которую папа один раз назвал обидным и почему-то привлекательным словом «мещаночка». Варя знает, что я пытаюсь к ней подделаться, поэтому мы часто ссоримся. Вот и вчера тоже. А тут ещё этот немецкий... Быля уже пыхтит, поднимаясь по лестнице. Хоть бы раз опоздала, но она *pünktlich*. Вообще-то сейчас лето, каникулы, но мы занимаемся. Былю не собьёшь с толку солнечным светом. А я теперь больше хочу учить французский.

Мама сегодня плакала – умер Высоцкий. У меня есть его маленькая пластинка с четырьмя песнями, которые я очень люблю. И большая «Алиса», где он поёт за Додо вкрадчивым голосом. Я тоже плачу, но как-то не всерьёз: мне не верится, что Высоцкого больше нет. Его портрет висит у Вари дома на стене, потому что её папа – он носит очень неприятную бороду, за которую ужасно хочется дёрнуть, – обожает Высоцкого. Наверное, он сейчас тоже плачет.

Жаль, что в каникулы нет занятий в музыкальной школе. Вот по кому я скучаю, так это по Луизе Акимовне. Она не то что Быля! У неё душистые маленькие ручки в кольцах. Кольца стучат по клавишам. А Быля орёт, что я неправильно сделала *Hausaufgabe*.

Я как будто слушала немку, а сама под столом разглядывала журнал. «Сравни две картинки, найди пять отличий». Быля объясняла, как заучивать глаголы, а сама смотрела на столик трельяжа, где у мамы косметика: крем «Балет», тушь «Ленинградская», духи «Пани Валевска».

Первое отличие: у мальчика на левой картинке есть ружьё, а у мальчика на правой – нет. Второе: зайчик на левой картинке серый, а на правой – белый. Остальные я найти не успела: Быля выудила журнал с моих колен и так завопила, что с кухни прибежала мама.

Быля *отказывается заниматься с этим ленивым ребёнком. У неё сотни тысяч предложений от заинтересованных родителей. Дети там все трудолюбивые, как на подбор, сознательные и думают о будущем. Да ещё за такие деньги стараться – была бы охота...* Тут Быля собирается заговорить о повышении платы за урок, но я успеваю сказать первая:

– А вы брали мамин крем, я видела!

Она правда брала – «Балет» стрелял ей в щёку длинным бежевым плевком. Размазывала его торопливо, кокетливо поглядывая на себя в зеркало... Теперь Быля на глазах стала белой, как зайчик на правой картинке, никакой крем не поможет. Она даже не догадывается, как брезглива моя мама! Тема немецкого языка закрыта. Мама провожает Былю до дверей в последний раз – и дарит тот самый тюбик крема на прощание.

Теперь я совершенно одна. Буду вести дневник и записывать всё, что приходит в голову. Толстая тетрадь у меня как раз есть.

Чем я отличаюсь от других людей?

1. Люди любят вещи. А я – музыку.
2. Варю её мама чмокает в губки вот так: «Муа! Муа!» У нас такое не принято. Я бы хотела, чтобы мама меня тоже целовала и звала Ксеничкой, а не Ксаной.
3. Все верят в любовь, а я никогда не поверю!
4. У меня руки-крюки, я не могу научиться даже самым простым вещам – вязанию или вышивке.

Пятое отличие я не могу доверить даже дневнику. Потому что никто не ведёт дневник, не думая при этом, что он может попасть в чужие руки. Дневники ведут для того, чтобы их кто-то прочёл.

Курская линия

Полтава, август 1893 г.

Я могла бы родиться в другой семье, в ином роду. Или в нашем же, но не захудалой курской линии, а знаменитой тульской – к ней принадлежала любимая фрейлина Екатерины II, «черномазая Лёвушка». «Вы, школы Лёвшина птенцы» – так сказано в «Евгении Онегине» об одном моём предке по тульской линии. Почему я – это именно я?

Каждое утро просыпаюсь и думаю о том. А начала так делать в Полтаве, куда мы переехали из Ловича. В Полтаву прибыли ночью в карете под названием *фаэтон*. Шёл сильный дождь, было очень темно, в Ловиче так не бывало.

Я родилась в Царстве Польском, в городе Влоцлавск-на-Висле, а в Лович мы переехали через два года. Приятно произносить это слово – Лович... Оно мне напоминает фамилию красивого офицера, хотя Геничка сказала бы, что рано мне ещё заботиться о красивых фамилиях.

Мне нравятся названия городов: некоторые звучат как музыка. Вот, к примеру, «Полтава» – это удар колокола. Пол-л-лтава, тава!

Из фаэтона я не увидела ни города, ни людей. Только раз отец сказал:

– Мост через Ворсклу. – И добавил: – Дорога идёт в гору.

Впоследствии я долго искала взглядом какую-то гору; мне даже в голову не пришло, что это всего лишь такое выражение.

Дух мой

Свердловск, сентябрь 1980 г.

Ксеничкины дневники я нашла случайно и никому об этом не рассказывала. Они лежали в стенном шкафу, в крапивном мешке. Это я слышала у папы в музее: «После него осталось два *крапивных мешка* рукописей». Это значит, мешки большие, толстые, серо-коричневого цвета. В моём мешке – аккуратно перевязанные стопки вроде тех, что готовят под переезд. Сначала я подумала, это мамины школьные тетради, но они были уж слишком старые.

Я начала читать не с той тетради, что была сверху, а с той, которую мне удалось выудить из перевязанной шпагатом пачки так, чтобы не пришлось распутывать узел. Потом-то я, конечно, распутала его и теперь развязываю и связываю заново нужную пачку. Некоторые записи – немыслимая вещь! – на французском языке.

Автор дневника – я не сразу сообразила, что это моя бабушка, в честь которой меня назвали, – пишет очень интересно, жаль, что иногда речь идёт о не совсем понятных мне вещах. Я всё равно пытаюсь их понять и мучаюсь, что нельзя спросить у мамы или папы, ведь мне никто не разрешал совать нос в чужой мешок.

Папа редко сердится на меня, но если сердится, то всегда повторяет одну и ту же обидную фразу:

– Скройся с глаз моих, и чтобы духу твоего здесь не было!

В Ксеничкиных дневниках был мой дух, это я сразу поняла. Там начинала жить моя душа.

Философия Ксенички

Полтава, ноябрь 1893 г.

Девочки, с которыми я изредка играю в Корпусном саду, не любят говорить о серьёзном. «Опять Ксеничка разводит философию», – смеются они, а я так дорожу их обществом, что стараюсь лишний раз не расстраивать игру своим несоответствием. Я отличаюсь от подруг, и отличие не в мою пользу.

За годы жизни в Полтаве я узнала многое о нашей семье. Начиная вести дневник, я думала о том, что сперва следует рассказать об истории нашего рода и о тех обстоятельствах, которые привели нас сюда, в Малороссию.

Имею ли я основания вести дневник или для сего нужно быть выдающимся, необыкновенным человеком? Об этом я и хотела бы поговорить с девочками из Корпусного сада, но, верно, не стану. А сестра Геничка – она одиннадцатью годами старше – точно высмеет мои размышления. Поэтому я никому не смею рассказать о своём дневнике и прячу тетрадь даже от мамы. Это довольно нелёгкое дело.

С дневником я не чувствую себя такой одинокой. Ах, если бы я не была самой младшей в семье! Старшие имеют такие занятия, которые мне будут недоступны долгие годы.

Ну, будет себя жалеть! Завтра начну записывать о том, что знаю – из семейной истории, о нашей жизни, родителях, Гене и Лёле.

С богом, любимый дневничок.

На следующий день

В октябре мне исполнилось десять, но я многое помню из раннего детства, даже то, чего не хотелось бы. А то, что связано с историей семьи, папа велит заучивать и рассказывать ему каждый день *par cœur*¹. Я считаюсь папиной любимицей и не имею права расстраивать его.

Мой отец, Михаил Яковлевич Лёвшин, вышел в отставку в конце лета 1890 года. Двадцать три года провёл он в Польше – сначала был преподавателем, потом инспектором и, наконец, директором реального училища.

Миша был младшим из тринадцати детей Якова Фёдоровича и Евгении Яковлевны Лёвшиных. Евгения Яковлевна ласково звала его *заскрёбышкой*. Она рано осталась вдовой и, продав за долги родовое имение Фатеж в Курской губернии на реке Псёл, вместе с ним и дочерью Анной перебралась в маленькое приданое именнице в Харьковской губернии. Семья была ограничена в средствах, так что Мишу пришлось отдать на воспитание тётушкам Назаровым, которые жили в Харькове и очень полюбили мальчика. Евгения Яковлевна осталась в деревне с Анной.

Миша в детстве был невысоким, щуплым. Однажды какой-то рослый генерал засмеялся, увидев маленького пригостишку с огромным ранцем, сказал: «Вот так великан!» – и поставил его, как игрушечного солдатику, на высокую каменную тумбу, которая стояла у ворот казармы.

Когда папа рассказывал об этом, он тоже смеялся, как бы отзываясь на давнюю шутку того генерала, но в глазах его вновь стояли слёзы. Я думаю, что свой скромный рост отец переживает как большую обиду. И то, что пошутивший над ним генерал был *рослым*, лишь пуще растравляет её. Пронизывающий взгляд и густой строгий баритон отца заставляли считаться с

¹ Наизусть (*фр.*).

ним и на службе, и дома, но ему как будто постоянно нужно доказывать всем свою значимость, серьёзность.

Рослые люди обходятся без этого.

А я, слушая папу, решила, что мне повезло родиться девочкой. Маленький рост для женщины – не такая обида.

Нет, Марина, нет!

Свердловск, декабрь 1980 г.

В прошлом учебном году со мной произошло сразу несколько важных событий. Во-первых, я познакомилась с новенькими девочками Наташей и Мариной и поняла, что хочу дружить с Мариной, а Наташа хочет дружить лишь бы с кем. Во-вторых, я влюбилась в Алёшу П. К сожалению, Алёша П. на уроке чтения рисовал на промокашке свастику, и я нажаловалась на него учительнице, потому что рисовать свастику – подлю. Не для того погибли герои-молдогвардейцы, Зоя Космодемьянская и мой двоюродный дедушка, чтобы Алёша П. рисовал на промокашках фашистские кривые кресты! Алёша П. стал после этого дразнить меня Ксенькой-ябедой, и ни о какой любви теперь не может быть и речи.

Однажды весной я убедила Марину погулять в её дворе, обойти вокруг дома. Она отнесла домой свой портфель, *чтобы не таскаться*, а мне зайти не предложила. Я чувствовала себя очень глупо со своим жёлтым портфелем в руке: Марина-то шла налегке. День был такой весёлый, солнечный! Я оставила портфель и синий мешок со сменкой в кустах, но, когда мы вернулись, портфеля там не было. И сменки тоже.

После зимы портфель весь был покрыт тонкими чёрными линиями, похожими на трещины в берёзовой коре. Вряд ли уличных воров заинтересует такая добыча. Но кто-то же утащил мои вещи! А в синем мешке (мама сшила его сама, там были даже мои инициалы красными нитками – *К. Л.*) лежали почти новые туфли, и вот за них мне точно попадёт. А учебники, тетради, дневник? Как же я закончу второй класс безо всех этих нужных предметов?

Я по-прежнему смотрела на то место, где оставила портфель и мешок, как будто ждала, что они там снова появятся. Но ничего не появилось, а Марина вздохнула:

– Ладно, Ксень, мне домой пора!

И она действительно пошла домой, в свой пятиэтажный дом, который казался мне дворцом сказочной принцессы – я бы ни за что не поверила, что дома у Марины такие же точно диван, ковёр и, например, уют, как у нас.

Она ушла, а я заплакала и плакала довольно долго, пока меня не обнаружила Лена Елизарова, одноклассница Димки. Это очень решительная девочка с короткими волосами, отличница и пионерка.

– Что случилось, Ксения? – спросила Лена, и я кинулась к ней на грудь, как будто это не чужая старшая девочка, а самый близкий человек во всём мире. Я что-то объясняла ей сквозь слёзы, а Лена, слушая, волокла меня за руку домой. Когда мы уже свернули в наш двор, навстречу выскочил Димка:

– Ксанка! Тебя милиционеры ищут по всему району!

Брат небрежно кивнул Елизаровой – в его компании девочек всерьёз не принимали – и потащил меня обратно в школу. Лена пошла было за нами, но по дороге, видимо, передумала, так что в кабинет директора мы зашли вдвоём с братом.

Директора звали, как сказала однажды мама, *эффектно* – Емельян Паригорьевич. Он был не очень страшный, я боялась его намного меньше, чем учителя физкультуры Семёна Ивановича или завуча Насиму Аюповну.

– Разве тебе не объясняли, что нельзя бросать без присмотра личные вещи? – спросил Емельян Паригорьевич. – Скоро тебя будут принимать в пионеры, но как же тебе можно доверить пионерский галстук? Что, если ты и его бросишь в кустах?

Димка от стыда за меня начал грызть ногти, за что ему всё время попадает от мамы. Я клялась, как умела, что никогда в жизни не потеряю пионерского галстука и буду беречь его как десницу ока. Тут директор так захохотал, что у меня сразу же высохли слёзы.

Жёлтый портфель с синим мешком, привязанным к ручке, лежал на стуле в директорском кабинете. Оказалось, пока я гуляла с Мариной (она-то, наверное, уже сделала уроки и теперь пьёт молоко с булочкой), мой портфель нашла в кустах какая-то женщина и решила, что ребёнка похитили преступники. Женщина побежала с моими вещами в милицию, оттуда позвонили в школу и домой. Директор уже набирал рабочий номер мамы, когда явились мы с Димкой.

– Надеюсь, Ксения, ты сделала правильные выводы, – сказал директор на прощание.

Брат довёл меня до порога и пошёл гулять. А я долго сидела в пустой квартире одна, пока не пришли мама с папой. У меня глаза сильно чесались от слёз, а родители уже обо всём знали: встретили по дороге маму Лены Елизаровой – их квартира в соседнем доме. Она выложила им историю с портфелем, а от себя ещё добавила: слава богу, всё обошлось, потому что по городу ходит маньяк и в парке Маяковского третьего дня опять нашли мёртвую девушку...

– А кто такой маньяк? – спросила я брата, но он ничего не ответил. Видимо, и сам не знал. А у родителей мы спрашивать не решились.

Мама ругала меня за портфель, а папа обнимал и гладил по голове. Когда я уже легла спать, он пришёл в детскую и спросил, почему я всё-таки оставила свои вещи в кустах. Я рассказала ему про Марину.

– Она не очень хороший друг, – заметил папа. – Бросила тебя одну и даже не побеспокоилась узнать потом, всё ли у тебя в порядке.

У меня защипало в носу, как от фанты. Это такой оранжевый порошок, который надо разводить водой, Варины родители привезли в прошлом году из Таллина. Папа поцеловал мне руку, как взрослой (я этого ужасно не люблю), и ушёл из детской. А я, засыпая, представляла себе, как завтра после уроков Марина спросит:

– Пойдём домой вместе?

И тогда я отвечу ей:

– Нет, Марина, нет!

Александр Сергеевич не Пушкин и другие

Полтава, январь 1894 г.

Вчера была целая история с моим дневником: я забыла его на столе, и Геничка почему-то решила, что может прочесть в нём, как если бы он был её собственный. Лёля сказал, что это нечестно, но Геничка всё равно сунула нос в мои записи и потом дразнила, что я воображаю себя сочинительницей! Но я никем себя не воображаю! Мама пришла узнать, почему мы шумим, и рассудила, что Геня не должна читать чужих дневников, ведь это всё равно что вскрывать письма, которые тебе не предназначены. Геня была вся красная от стыда и принуждённо просила у меня прощения. Но я на неё не слишком сержусь, скорее на себя: вольно ж было забывать дневник на столе! Больше я таких ошибок не сделаю.

Теперь мой дневник для Генички под запретом вместе с целым списком книг, которые нам пока нельзя читать. Для меня запрещён журнал «Задушевное слово», брату не позволяют читать Майн Рида и Густава Эмара.

Геничка берёт у кого-то из подруг «Вестник иностранной литературы», но ей приходится прятать от отца журналы. Возможно, ему не понравилось бы и то, о чём я пишу в моём дневнике?.. А впрочем, разве это дурно – записывать что-то из истории нашего рода? Геничка не права: я воображаю себя не сочинительницей, а летописцем с бесконечным свитком в руках...

Третьего дня отец показывал мне фотографический портрет своей мамы Евгении Яковлевны. Он сказал при этом, что бабушка была замечательная красавица и что у неё были чудесные синие глаза, но на дагерротипе Евгения Яковлевна запечатлена уже очень пожилой, лицо у неё напряжённое, и особенной красоты я в нём не отметила. Разумеется, отцу я об этом не сказала.

Вместе с портретом бабушки и сестёр Назаровых, вырастивших маленького Мишу, лежали другие фотопортреты, и на одном был представлен моложавый безбородый блондин довольно приятного вида, немного, как мне показалось, похожий на кота. Наискось, через фото, прямо по лицу размашисто написано отцовским почерком: «Мой мучитель!!!» Я заметила, что на обратной стороне фотокарточки есть любезная подпись «На память от А. Л. Апухтина» и ещё что-то, но отец с досадой отбросил портрет *мучителя* в сторону, так что я не успела разобрать более ни слова.

Расспрашивать отца я не посмела, но на другой вечер обратилась за разъяснениями к маме. Она сказала, что Апухтин был попечителем Варшавского учебного округа и что отцу пришлось подать преждевременно в отставку из-за невыносимых отношений, которые сложились меж ними.

Отец рос у тётушек Назаровых истинным баловнем, плохо учился и даже остался на второй год в четвёртом классе. Но когда умерла вначале одна тётушка, а за ней вскоре другая, Мише пришлось заботиться о себе самому. Евгения Яковлевна с сестрой Анной не выезжали из именища, присылали слёзные письма, что жить не на что и Анну одеть не во что. Отец ещё сам был мальчишкой, когда начал репетиторствовать за гроши и при этом упорно учиться. Нужда научила его аккуратности, бережливости, поэтому он так пристально следит за своей и нашей одеждой и обувью.

Старший брат нашего папы, Николай, в те годы учился медицине и уже был женат, так что помогать сразу и матери, и брату не мог. Когда Мише приходилось жить почти что впроголодь, он преодолевал гордость и стыд и обращался за поддержкой к дядюшкам. Александру Сергеевичу Лёвшину Миша был внучатый племянник, с ним можно было сосчитаться роднёй, а другому дядюшке – Льву Ираклиевичу, генерал-полицмейстеру Варшавы, – приходился десятой

водой на киселе. Поэтому чаще всего отец писал Александру Сергеевичу – его фотопортрет свято хранится вместе с другими семейными реликвиями. Дядюшка был красивый мужчина с лицом умным, выразительным и чуть-чуть ироническим. Богатый волынский помещик, он никогда не был женат, жил в благоустроенном доходном имении с плодовым садом, оранжереями и великолепной библиотекой, где Мише иногда позволялось листать книги.

Ни тот ни другой дядюшка не спешили оказывать помощь нуждающемуся юноше, её нужно было всякий раз испрашивать, и для самолюбивого Михаила это было тяжкое испытание.

Семнадцати лет от роду мой отец поступил на математический факультет Харьковского университета. В том же году умерла кроткая, добродушная Евгения Яковлевна. Когда Николай и Михаил приехали на похороны и принимать наследство, то выяснилось, что по закону их сестре Анне приходится лишь четырнадцатая часть и без того невеликого состояния. Кто-то из сердобольных, знающих людей сказал, что, будь у Анны хоть маленькое приданое, ей можно было бы сыскать жениха. Братья отказались от наследства, продали именье, отдали деньги сестре, и она действительно вышла замуж за небогатого помещика. Николай кончил университет, стал врачом, но из бедности так и не вышел и через несколько лет умер от чахотки.

Я продолжу летопись, как только расспрошу маму про её предков – она происходит из дворянского рода Шаверновских. Обязательно расскажу о том, как они с отцом познакомились, о том, что было в нашей жизни до переезда в Полтаву.

Думается, мой дневник может быть интересен для моих будущих детей. Возможно, они захотят узнать, как жили в Малороссии и Царстве Польском в конце девятнадцатого столетия.

А я бы хотела однажды увидеть море, Швейцарию и Санкт-Петербург...

Ольга и Шопен

Свердловск, июль 1981 г.

Мама говорит, что любая нормальная девочка должна уметь кататься на велосипеде и плавать. Насчёт плавания я согласна, хотя мне больше нравится в Орске «ходить» по дну Урала, там где мелко, на руках. Тогда всё тело просто висит в воде и можно воображать себя русалкой. Велосипед – совсем другое дело. Я его уже просто видеть не могу, но мама заставляет меня кататься каждый день. Уже получается проехать два-три метра, после чего я падаю в траву или на дорожку, посыпанную камешками.

Мы уезжаем к бабушке в Орск послезавтра! Я видела наши с Димкой билеты на поезд, они бледно-оранжевые и вкусно пахнут новой книжкой. А в библиотеке всё самое интересное оказалось на руках.

Сейчас я расскажу очень грустную историю. Не хотела её записывать, но Ксеничка считает, что необходимо рассказывать обо всём, ничего не скрывая.

Вчера вечером я гуляла одна и слушала с улицы, как папа играет на пианино. Шопен или Шуберт, я их вечно путаю. Хотя ничего похожего, как говорит папа, между ними нет, эта буква «Ш» меня постоянно сбивает. А ведь есть ещё и Шуман.

Девочки из соседнего дома громко спорили, кто там на четвёртом этаже бренькает, и я очень боялась, что они догадаются: это мой папа. Мне кажется, что играть на пианино – не самое подходящее занятие для мужчин. Я просто сгорала от стыда за папу и в конце концов стала смеяться вместе с девочками, которые изображали, как человек бьёт по клавишам. Я ещё, вроде бы, даже подвывала в тон Шопену или Шуберту, и девочки были от этого в восторге. А теперь я чувствую себя настоящей предательницей, тем более что папа совсем недавно вернулся из Москвы и привёз мне в подарок немецкую куклу Эльзу. А девочек этих я даже не знаю по именам, и они мне не очень нравятся.

Потом появилась Ольга. Ей уже, наверное, лет тринадцать, если не больше. Ольга, на мой взгляд, самая красивая девочка из всех. Даже лучше Марины. Я бы поменялась с ней в одну секунду: если бы можно было оставить моих родителей и Ксеничкины дневники, а всё остальное чтобы было как у Ольги – я согласна! У неё гладкие, коротко подстриженные волосы и глаза сине-зелёные, как конфеты «Морские камушки». И она ходит не в платьях, а в брюках с ремнём и рубашке. Ольга не только сама была очень красивой, но и велосипед, который она вела за руль, был совершенно новый и блестел на солнце, как фольга. Папа очень вовремя взял мажорный аккорд, из нашего окна выдуло ветром шторм, а Ольга спросила у меня – у меня! – хочу ли я прокатиться.

– Попа не годится, – зашумели проклятые девочки, но Ольга их будто бы не слышала. Она поставила передо мной велик и терпеливо его держала, пока я взгромождалась на высокое седло. Я сразу понимала, что не нужно этого делать, зачем я согласилась?!

– Сделай два круга! – сказала Ольга. – Или даже три! Не спеши, я пока музыку послушаю. Это ведь Шопен, правда?

– Жопен! – хохотали девочки.

Я ехала вперёд, не падая, почти целых полдома, побив все свои прежние рекорды. Я почти поверила, что смогу сделать круг, а потом ловко спрыгну с велика и верну его Ольге со сдержанной благодарностью. А она, наверное, пригласит меня к себе в гости... Больше всего на свете я люблю ходить в гости к подругам, а мы с Ольгой обязательно станем подругами. Точнее, мы уже подруги, размышляла я в тот момент, когда на дорогу выскочил какой-то карапуз с совочком в руке. Я резко затормозила, велосипед повело в сторону, в нём что-то скрипнуло

и застонало, как если бы это был живой человек. Карапуз с воплями понёсся к маме, а мы с великом лежали на асфальте. Мне было очень больно. На ноге набухла и сочилась кровью длинная ссадина, похожая на след от малярной кисти... Ко мне бежали девочки и Ольга, а той мамы с карапузом и след простыл. И папина музыка стихла, и кто-то затянул штору обратно в окно.

– Она тебе «восьмёрку» на велике сделала! «Восьмёрку»! – ликовали девочки.

Я боялась посмотреть Ольге в глаза.

– Дура ты, Ксения, – сказала Ольга и вытащила из-под меня изуродованный велосипед. Как хорошо, что мы скоро уезжаем! Всего один день остался, всего один день.

Долматовы и Шаверновские

Полтава, май 1894 г.

История рода требует полнейшего посвящения этому предмету, и теперь, благодаря маме, мне вновь есть о чём рассказать.

Во время наполеоновских войн жил в Митаве обеспеченный бюргер по фамилии Пфейфер. У него была дочь Агнесса – высокая и статная, с пышными белокуро-пепельными волосами. Она получила небольшое образование, прочла несколько романов и была соответствующим образом настроена.

Едва ли не сразу после разгрома Наполеона в Митаве остановился на отдых русский пехотный полк, и на квартиру к Пфейферу поставили молодого красивого офицера – Александра Долматова. Дальше всё было действительно как в одном из тех романов, что читала Агнесса: молодые люди полюбили друг друга, но отец девушки и слышать не хотел о браке дочери с каким-то проезжим офицером, да ещё и русским, а не из хорошей немецкой семьи! Тогда Агнесса убежала из дома, навсегда порвав с родителями, и где-то тайно обвенчалась с Александром. Большая часть жизни этой женщины, моей прабабушки, прошла в Риге. Муж её Александр постоянно был в походах, семью навещал редко, а ведь у них родилось семеро детей! Олимпиада, Иван, Ольга, Наталия, Александр (мой дед), Павел и Константин. Во время отсутствия мужа Агнессе выплачивалась только лишь половина его жалованья, и без того невеликого... Александр Долматов-старший умер где-то на чужбине совсем ещё молодым человеком, и Агнессе пришлось узнать бедность и лишения.

Другая женщина на её месте стала бы искать помощи у семьи, возродив отношения, или же впала бы в отчаяние, но наша Агнесса отличалась огромной энергией и силой воли. Она не гнушалась никакой работою, с утра до ночи трудилась, шила, вязала, ухаживала за больными, помогала хозяйкам на больших приёмах и свадьбах. Маленькие девочки Долматовых с шестилетнего возраста вязали на продажу чулки и помогали в хозяйстве.

Конечно, Агнессе было нелегко поднимать одной такую большую семью, и это изменило её характер. Она стала суровой, малоразговорчивой, дети побаивались своей строгой матери.

С большими усилиями Агнесса дала возможность старшему сыну Ивану окончить гимназию. Он был толковым парнем, любил свою семью и поставил себе цель вывести её из бедности. После гимназии Иван поступил мелким служащим на только что построенную частную Риги-Орловскую железную дорогу. У него была практическая жилка и хорошие организаторские способности, так что он быстро стал продвигаться, а когда младшие братья подросли, Иван был уже настолько обеспечен, что помог Александру, Павлу и Константину получить высшее образование. Позднее Иван стал одним из директоров той самой дороги, на которую поступил маленьким служащим.

Мой дед Александр Александрович Долматов, второй сын Агнессы после Ивана, окончил университет в Дерпте по специальности «Классическая филология». Был он, как все сыновья Агнессы, высок и строен, держался очень прямо, черты лица имел крупные, но правильные. В пору его учения брат Иван ещё не достиг вершины своей карьеры, поэтому мой дед подрабатывал уроками, а летом уезжал на *кондиции*². На последнем курсе он нанялся летним репетитором в богатую русскую помещичью семью и встретил там свою будущую жену Юлию Петровну Шаверновскую, недавно поступившую туда же гувернанткой. Получилось, что Алек-

² На каникулы.

сандр единственный из всей семьи вышел из круга немецкой родни, связав свою жизнь с обрусевшей полькой.

Шаверновские – родовитая петербургская семья, обрусение и обнищание которой начались довольно давно. Родители Юлии Петровны умерли совсем молодыми, оставив трёх девочек – Юлию, Лизу, Луизу – и сына Петра. Видимо, у них была тогда всё же *рука*, потому что сирот удалось хорошо пристроить: девочек – по институтам, Петра – в Морской корпус. Моя бабушка Юлия Петровна окончила Смольный институт *с шифром*, в числе одной из шести лучших выпускниц! Этот шифр представляет собой золотой вензель в виде инициала императрицы Екатерины II – его носят на белом банте с золотыми полосками.

Выпускницы Смольного часто становятся фрейлинами, но судьба Юлии Петровны сложилась иначе. Она была старшей дочерью, сёстры и брат ещё учились, а из взрослой родни жива была лишь обнищавшая тётка. Нужно было самой о себе заботиться, и Юлия Петровна благодаря шифру устроилась гувернанткой в богатую семью. Лиза и Луиза удачно вышли замуж, брат Пётр стал морским инженером, работал в основном в Кронштадте, а позднее построил называвшийся «новым» Петергофский вокзал.

Встреча моих деда и бабушки была огромным везением и счастьем, они женились по большой любви и сумели сохранить её до самой смерти.

Мама лишь раз обмолвилась, что Юлия Петровна была к ней неласкова, что она росла дурнушкой – нелюбимой, пугливой, неловкой. Бабушка любила и баловала вторую свою дочь, красавицу Нелли. Той всё сходило с рук, и соответственно формировался характер: Нелли выросла смелой, ласковой, вкрадчивой. Третья дочь Вера была ни красива, ни дурна и характер имела какой-то безличный, Юленька относилась к ней по-среднему. А младшую, хворую с детства Сашу, все жалели и баловали, прощая ей даже крупные шалости. Саша была очень шаловлива и вредна, мама в детстве натерпелась от её проказ и никогда не говорила об этой своей сестре, умершей восемнадцати лет, с жалостью или сочувствием...

Александр Александрович после женитьбы преподавал некоторое время латинский и греческий в Псковской гимназии. Там, во Пскове, и родилась в 1848 году моя мама Юлия Александровна Долматова. Через некоторое время дед получил место в училище правоведения в Петербурге, и это было большое продвижение.

В Петербурге для Юлии Петровны настало хорошее время. Муж получил казённую квартиру, имел солидный оклад. Мамина мама любила выезды, наряды, светские развлечения. Воспитанием детей занималась пригретая старая тетушка Граббегорская.

Когда Юленьке исполнилось девять лет, Александр Александрович тяжело заболел. Мама говорит, что у него была нервная горячка от переутомления. Болезнь была долгой, лечению поддавалась плохо. Брат Иван, к тому времени уже разбогатевший, пришёл на помощь, и больного увезли в Швейцарию, в чудесную деревеньку Кларан (*Clarens*) вблизи Монрё. Тогда эти города ещё не так подвергались нашествию туристов, как случилось позднее. В Кларане в ту пору даже не было набережной! Иван купил брату дом на берегу Женевского озера с садом, спускавшимся до самого пляжа. Его называли вилла Эрмитаж – убежище отшельника.

Игра в маньяка

Орск, июль 1981 г.

Мы живём в Орске уже вторую неделю. Димка с утра на рыбалке, а у нас с бабушкой «тихий час», и я прячусь в сарае, где есть небольшой диванчик и целые залежи журналов «Крокодил» и «Здоровье». Это несколько примиряет меня с действительностью, как сказала бы героиня библиотечной книги, которую я сейчас читаю. И ещё я тут пишу дневник.

Когда ждали поезд, мама вдруг начала гладить меня по голове, что было странно, потому что обычно она никогда так не делает. Мама зашла с нами в купе, и мне в какой-то момент показалось, что она тоже едет в Орск. Но проводница крикнула, что через две минуты отправляемся, и вот мама уже стоит на перроне (а шторы грязные, а Димка уже ест курицу) и машет нам с таким жалобным лицом, что я чуть не заплакала...

Мы с Димкой лежали на наших верхних полках, смотрели каждый в своё окно и, пока не стемнело, считали животных. По правилам игры можно считать всех, кроме собак и кошек. Лошади, овцы, коровы, свиньи... Я попросила брата рассказать ещё о маньяке, и он согласился. Оказывается, папа Димкиного одноклассника Серёжи Сиверцева ведёт расследование по делу этого убийцы, но преступник попался исключительно хитрый, его так просто не возьмёшь. Вот уже несколько лет маньяк орудует в Свердловске: убивает один раз в год, обычно в мае. В каком-нибудь городском парке весной находят задушенную девушку, над которой маньяк «надругался» (не очень понимаю, что это значит).

С вокзала мы шли пешком. Я бежала впереди всех по пыльной дороге, которая снится мне зимой в Свердловске: во сне она длинная-длинная, а на самом деле мы проходим её минут за пятнадцать, и вот уже видно зелёную крышу бабушкиного дома. Бабушка Нюра многие годы работала главным бухгалтером на мясокомбинате, и её в коллективе очень ценили, уважали и слушались. Я тоже уважаю бабушку, но не могу сказать, что люблю её как маму или папу. С бабушкой только расслабишься, как она тут же отругает тебя на ровном месте или начнёт ворчать на маму, чего я терпеть не могу. Моя мама – прекрасный человек, это все говорят. А бабушка смотрит на свою дочь какими-то другими глазами. Мама не любит приезжать в Орск, я знаю. Может потому, что она каждый год одна белит извёсткой в бабушкином доме стены? И у неё болят руки от холодной воды, в которой надо полоскать бельё. Здесь из крана течёт только холодная вода.

Удивительное дело, как отличаются две моих бабушки, мамина и папина! Я не представляю себе, чтобы орская баба Нюра вела дневники, и не могу вообразить, чтобы Ксеничка Лёвшина ругала своего внука за то, что он слопал нужный в хозяйстве семенной помидор! Хотя я знаю папину маму только по её детским дневникам, а до взрослых ещё не дошла...

Жаль, что я не взяла с собой хотя бы пару тетрадок из тайника! Читать здесь кроме «Крокодила», «Здоровья» и старых, ещё маминых детских книжек совершенно нечего, и в библиотеке Дома культуры железнодорожников тоже мало интересного. Правда, в читальном зале мне дали Большую советскую энциклопедию на букву «М». Я переписала: слово маньяк произошло от маниакально (фр. *maniaque*, от греч. *mania* – безумие, восторженность, страсть) и означает «человек, одержимый болезненным односторонним пристрастием, влечением к чему-либо». Не могу сказать, чтобы это мне что-то прояснило, по-моему, тот, кто сочинял на букву «М», не очень хорошо представлял себе, кто такие маньяки...

Я научила Раю и Светку с другого конца улицы играть в маньяка. Одна из нас не спеша гуляет на пригорке, ловит кузнечиков, собирает цветы. Вторая нападает на неё и, *надругавшись*, убивает (ругаемся мы настоящими матерными словами, но без голоса, как будто у телевизора

выключили звук), а третья потом приходит на место преступления как милиционер. Маньяку нужно успеть спрятаться до того, как появится милиция, – в общем, игра получилась невероятно увлекательная, уж во всяком случае лучше, чем все эти «колечки» и «цепи кованые»!

Мне больше нравится быть маньяком или милиционером, а вот жертвой – не очень. Хотя в этом тоже есть какое-то странное волнение... Скорее бы кончился этот «тихий час», который зачем-то придумала бабушка, и можно будет позвать девочек гулять. Впрочем, в сарае, с его журналами, мухами и укропом, который сушится на расстеленных газетах, мне тоже неплохо. «Крокодил» я пролистываю быстро, все карикатуры там довольно скучные – про несунов, взятки, конец квартала и премии. Зато мне нравится читать названия зарубежных журналов, из которых здесь перепечатывают шутки: «Канадиан бизнес», «Ойленшпигель», «Панч», «Рогач», «Пуркуа па»... Однажды я обязательно приеду в какую-нибудь зарубежную страну, куплю в киоске журнал «Пуркуа па» и вспомню, как читала его в бабушкином сарае...

Почему бы и нет?

Лелива

Полтава, июнь 1894 г.

Прежде чем продолжить рассказ о детстве моей матери, я должна записать несколько важных слов о фамильном гербе Лёвшиных. Здесь есть чудесная и звучная переключка, потому как на нём изображается символ «лелива» – что за прелесть это переливчатое слово! И как оно созвучно Лёвшиным...

Переписываю из книги А. Б. Лакиера «Русская геральдика», что дал мне папа: «Лелива (*Leliwa*) состоит из положенных в голубом поле шестиугольной звезды, цвета золотого, и под нею же золотого же полумесяца, рогами обращённого вверх. Нашлемник из павлиньих перьев, на которых повторяется та же фигура. Это знамя, общее многим славянским племенам, есть вместе и герб Иллирии. Польские геральдики утверждают, что леливу принёс с собою в XI столетии с берегов Рейна некто Тицимир, который, основав в Польше город и породнившись с польскими фамилиями, сообщил им свой герб. Ср. гербы Белозерских, Таракановых, Тарновских и т. д.».

И дальше: «Из немцев, равно как из Цесарии, Бархатная книга выводит очень много таких родов, которые по всем приметам выехали в Россию из Пруссии и других славянских земель... Много также признаков славянского происхождения носят на себе гербы Безобразовых, Мавриных, Наумовых и Лёвшиных... Что же касается Лёвшиных, то их производят от выехавшего к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому из Швабии Сувола Лёвенштейна. Поэтому первоначально употреблялся в их роде герб Лёвенштейнов, т. е. лев, стоящий на задних лапах и увенчанный короною, а впоследствии герб их изменился и утверждён в царствование государя императора Павла Петровича. Он употребляется Лёвшиными донныне: щит разделён двумя горизонтальными чертами, соединёнными на середине щита, и третью рассечён пополам. Затем из трёх частей в верхней изображён герб-лелива, т. е. звезда над луною; в нижней части в правом, красном поле виден выходящий с левой стороны до половины белый орёл с распростёртым крылом; а в левом, голубом, поле стоящий чёрный медведь держит в передних лапах серебряный меч. Тот же медведь до половины виден и в нашлемнике».

Лев, орёл, медведь... Героические символы! Впрочем, для гербов иных и не выбирают. Кто это видывал гербы с крысами, свиньями или же блохою? Всем подавай зверей красивых, бесстрашных и мудрых.

Отец только что прислал за мной и расспрашивал: для чего я сижу так долго за письмом? Я не решилась сказать, что веду теперь семейную летопись, укрытую в дневнике: предугадать отца невозможно, и я не могу показать ему всей работы, пока она ещё не окончена. И как отделить её от других мыслей, от частных переживаний? Я ответила уклончиво, что готовлю сюрпризы к именинам, и он, кажется, удовлетворился.

Теперь перенесёмся же снова в благодатную Швейцарию, о которой я так много слышала и где мечтаю однажды побывать...

Итак, дом, купленный Иваном для больного брата, имел название Эрмитаж. Вилла стояла вблизи от озера, места были прекрасные и довольно безлюдные. Из сада, где росли розы, открывался дивный вид горной панорамы.

Чудесный климат, спокойная обстановка и забота любимой жены оказали своё действие: дедушка совершенно выздоровел. Долматовы остались жить на берегу Лемана, не пожелав расстаться с этой спасительной землёю. Они открыли школу с пансионом для русских детей, матери которых подолгу лечились в Швейцарии, но это оказалось делом невыгодным, и тогда практичная Юлия Петровна устроила на вилле пансион для туристов. Именно бабушка моя

стала душою этих предприятий, тогда как дед жил здесь, скорее, как обеспеченный рантье. Он изучал санскрит, много, в удовольствие, читал.

Болезнь деда разделила семью. Уезжая в Швейцарию, Юлия Петровна взяла с собой любимицу Нелли и больную Сашу. Юленьку забрала к себе тётя Лиза, Веру – тётя Луиза. В Швейцарии у Юлии Петровны родились два сына, Александр и Владимир. Мамины родители живут в Кларане и сейчас, а возвращаться в Россию не спешат, хотя подданство сохранили.

Когда мама рассказывает о своей жизни у тёти Лизы во Пскове, глаза её делаются теплее, а на губах появляется улыбка... Тётя Лиза была замужем за генералом из обрусевших поляков. Детей у них не было. Между собой они говорили по-русски, любили друг друга и вели широкую светскую жизнь. Эти прекрасные, добрые люди окружили мою маму такой лаской и баловством, какие ей и не снились. Понемногу она оттаяла, стала весёлой, приветливой девочкой. Чему-то её учили, Юленька много читала или играла с крепостной девочкой Дуней, взятой ей в подруги.

К сожалению, счастливая пора маминого детства продолжалась недолго, каких-то четыре года. Потом тётя Лиза сильно заболела, и Юленьку спешно и непродуманно сбыли в захудалый институт принца Ольденбургского в Петербурге: туда принимали офицерских сирот и полусирот. В тот же год тётя Лиза умерла, а за ней скончался и её муж, генерал...

Почти сразу же после поступления Юленька заболела брюшным тифом. Выздоровление шло медленно, она ослабла, память ухудшилась, и учение, к которому в детстве она была очень способна, стало даваться ей с трудом. Но мама была настойчива, старательна и всю институтскую программу усвоила добросовестно. Некоторые преподаватели её даже выделяли, особенно чудак, преподававший русский язык, он всегда ставил ей 5+, а иногда, за особо удачные ответы, – 6. Юленька охотно занималась музыкой под руководством добрейшей старой деви мадемуазель Матисен.

Классная дама у Юленьки была, напротив, женщиной недоброй, она – как, впрочем, и глупая немка-начальница, и часть подруг позажиточнее – презрительно относилась к моей маме, некрасивой, угловатой, одинокой. Для остальных обитателей института, сдружившихся за несколько лет совместной жизни, она была чужая.

Кормили институток скверно. Эконом умело экономил себе в карман. Обеды и ужины иногда подавали такие, что институтки отказывались есть. Но чёрный хлеб привозили вкусный. Девочки радовались, когда к ужину давали отварной картофель с маслом. Они разминали картошку и намазывали её на ломти чёрного хлеба. В такой вечер они бывали сыты.

Со временем отношение многих воспитанниц к Юленьке улучшилось. Она охотно помогала подругам по языкам, делала за них домашние задания, а подруги помогали ей в рукоделии, которое Юленьке никак не давалось. Ей даже присвоили ласковое прозвище *Долматик*, но настоящих подруг у мамы не было, до конца института она оставалась одинокой.

Единственной радостью Юленьки в институте принца Ольденбургского оставалось чтение – жаль, что список разрешённых французских книг был очень скуден. Даже Шатобриан и Бернарден де Сен-Пьер попали в число недозволенных. Добрая душа – учительница музыки Матисен – с риском для себя снабжала Юленьку книгами. Неизгладимое впечатление оставили «Векфильдский священник», «Базар житейской суеты» и особенно «Джен Эйр». Мама усмотрела сходство между детством и юностью Джен и своими. Она начала мечтать о самостоятельной трудовой жизни.

Неблизкие родственники

Орск, июль 1981 г.

За последнее время произошли два события, о которых надо рассказать.

Первое событие: приехали Женя и Лида, наши троюродные брат и сестра; они проводят каникулы у своей бабушки, и сегодня мы с Димкой пойдём к ним в гости! Лида младше меня на два года, она живёт в Киеве и считается очень болезненной. За неё все так волнуются, что я начинаю чувствовать себя рядом с ней слишком крепкой и здоровой, какой-то кровью с молоком! Лида учится в английской школе; ещё она, как и я, занимается музыкой.

Женя постарше, он спокойный и воспитанный. Живёт в Тюмени. Его мама и мама Лиды – родные сёстры, которые когда-то уехали из Орска учиться в другие города.

Второе событие: кто-то из соседей рассказал бабушке Нюре про нашу игру в маньяка, и она велела мне подробно объяснить, откуда я взяла такую идею. Мы как раз ехали в Старый город. Обычно мне нравились эти поездки, потому что бабушка обязательно покупала мне мороженое, а орское мороженое – самое лучшее в мире! Но сегодня сразу стало понятно, что мороженого не будет: бабушка очень рассердилась, потому что я, видите ли, дурно влияю на Раю и Светку.

– Чтоб я больше не слышала ни про каких маньяков! – грозно сказала она. – Играйте лучше в дочки-матери.

Не понимаю, чем игра не угодила бабушке! Моя вторая бабушка Ксеничка из дневников не стала бы придираться по всяким пустякам. Как несправедливо, что папина мама умерла задолго до моего рождения! Папа рассказывал, что бабушка жила в Ленинграде и была учительницей немецкого языка. У него не сохранилось ни одной её фотографии. Я чувствую связь с Ксеничкой, которая не зависит ни от каких фотографий, хотя, конечно, жаль, что я не представляю себе, как она выглядела. «Вижу» её всегда как бы в размытом свете или со спины...

Когда в Орске меня начинают ругать на все лады, я как будто прячусь в Ксеничкины дневники. Вижу фиолетовые, местами выцветшие строчки, вдыхаю сладкий аромат страниц...

– Ты вообще слышишь меня или нет? – сердится бабушка Нюра.

Слишком уж часто она сердится. Скорее бы мама приехала!

Вообще-то в Орске не так уж плохо, особенно после того, как появились Женя и Лида! Вчера мы с Димкой ходили в гости к тётке Зое, у которой они живут. Тётя Зоя – сестра бабушки, но они с ней совершенно не похожи. Как все неблизкие родственники, тётя Зоя ведёт себя с нами вежливо, не ругает и не воспитывает.

Мы стали играть – по моему предложению, в маньяка. Квартира тёти Зои – в трёхэтажном доме, далеко от нашей улицы. Двор тут просторный, зелёный, есть где спрятаться. И, я надеюсь, тот, кто пожаловался бабушке, здесь не ходит. Играли долго, пока не стемнело. Когда я была жертвой, а Женя – маньяком, он склонился надо мной, и у меня вдруг что-то вспыхнуло внутри и зажглось таким чудесным ярким светом!

Я не могу объяснить и передать это чувство, но, возможно, это и есть любовь?

Да, но нельзя же любить своего брата, пусть он и троюродный?

Да, но в книгах женщины часто выходят замуж даже за своих кузенов.

Да, но Женя пока что не предложил мне выйти за него замуж...

В общем, когда тётя Зоя предложила нам с Димкой остаться ночевать, я ужасно обрадовалась. Тётя Зоя позвонила бабушке, и та разрешила с условием, что завтра мы будем помогать ей с прополкой.

Мы с Лидой улеглись в спальне, Димка и Женя – в гостиной. Лида быстро уснула, а я ворочалась допоздна и слышала, как Димка за стенкой рассказывает Жене, что на самом деле делал со своими жертвами свердловский маньяк.

Мне было так жутко, что я прятала голову под подушку и затыкала уши руками, но всё равно почему-то слышала всё до слова.

Я никогда больше не стану играть в эту игру.

Comme tu es laide!

Полтава, июль 1894 г.

Как важно человеку родиться красивым! Люди, одарённые приятной, располагающей внешностью, не могут вообразить страданий тех, кому выпало обладать менее гармоничными чертами... Впрочем, даже последние имеют право однажды поверить не зеркалу, а чужому взгляду, способному превратить дурнушку в красавицу. Увы, моей маме такого счастья не выпало. А ведь она вовсе не так дурна собой, как вообразила её мать! Я с удовольствием разглядываю мамины прежние портреты и даже нахожу её хорошенькой... Жаль, что мне нельзя вернуться в прошлое и приласкать мою бедную маму, когда она была так одинока и несчастлива в Петербурге...

По окончании института Юленька поехала к родителям в Швейцарию. Она забыла детские обиды, радовалась, что едет к семье... На вокзале в Кларане её встретили мать и сестра Нелли, красивая стройная девушка. Нелли было всего пятнадцать, но она казалась взрослой. Мать при виде старшей дочери всплеснула руками: *Mon Dieu, Julie! Comme tu es laide!*³

Юленька эти слова запомнила крепко.

То был период в жизни Долматовых, когда они содержали школу-пансион для русских детей. Постоянных учащихся в школе не было, и она еле-еле существовала. Семья же за это время выросла, маму встретили два цветущих мальчугана – шестилетний Саша и двухлетний Володя. Была ещё жива болезненная младшая сестра Александра. Хозяйство велось с большой экономией, и Юленьку быстро превратили в няньку и прислугу, если не хуже, потому что с прислугой-швейцаркой Юлия Петровна считалась, а если нужно было выполнить какую-нибудь грязную работу, которая могла бы вызвать недовольство, она поручалась Юленьке. Нелли в хозяйстве никакого участия не принимала, она уже окончила школу, вела праздный образ жизни, наряжалась и привлекала своей красотой внимание знакомой молодёжи. Володя, избалованный и капризный мальчик, не питал к Юленьке нежных чувств, и она платила ему тем же...

Но не всё было так плохо! Никогда не бывает плохо всё. Разве это не счастье – жить в таком климате, в красивой вилле на берегу озера, ходить в горные экскурсии, кататься с сестрой на лодке? Юленька искала и находила маленькие радости, но бездушное отношение матери, её подчёркнутая любовь к Нелли отравляли их. Падчерица и родная дочь – как в сказке! Если Нелли с Юленькой собирались гулять и моя мама пыталась принарядиться, надеть на шею бархатку с медальоном по тогдашней моде или покрасивее причесать свои белокурые волосы, Юлия Петровна раздражалась и вскрикивала:

– Сейчас же сними бархатку! Сейчас же перечешись! Не с твоим лицом причёсываться по моде. Вот ещё вздумала! Не забывай, что ты некрасива. Что можно Нелли, тебе нельзя.

Дела с пансионом шли хуже и хуже, Юлия Петровна нервничала, срывала раздражение на дочери. День ото дня придирки и брань усиливались. Александр Александрович занимался своими делами и ничего не замечал. Лишь раз, когда после очередной обиды расстроенная и заплаканная Юленька в затрапезном платье, с ведром в руке столкнулась на лестнице с отцом, он что-то заподозрил.

– *Nun was? Was, Julinka?* – спросил он встревоженно. – Разве тебе плохо живётся?

Вдруг он притянул её к себе и крепко обнял. С этого времени началась Юленькина дружба с отцом. Мама всякий раз оживляется, получив письмо со швейцарской маркой, с адре-

³ Боже мой, Юлия! Как ты безобразна! (фр.)

сом, написанным слегка дрожащим, но всё ещё красивым почерком. Она бережно вскрывает конверт, её нахмуренное лицо яснее, а потом она любовно укладывает прочитанное письмо в палисандровую шкатулку с перламутровой выкладкой. Там хранятся её письма, фотографии родных, там, на самом дне (случайно получилось, что я это знаю), припрятано фото Андрея фон Модраха, героя её неудачного романа.

Изменить положение Юленьки в семье помог случай. Малоразговорчивый в семейном кругу Александр Александрович становился совсем другим, когда к нему приезжали старые университетские товарищи. Один из друзей занимал важный пост в Министерстве просвещения. Летом 1868 года он заехал в Кларан и остановился в Эрмитаже. Это был живой, наблюдательный человек, он быстро понял, какое положение занимает в семье Юленька. Раз он застал её в коридоре за выполнением какой-то чёрной работы.

– Охота вам этим заниматься! – сказал он. – Поезжайте на родину. Сейчас у нас везде открываются женские гимназии, я вам устрою место учительницы французского языка. Хотите, переговорю с Александром Александровичем?

Конечно, она хотела! Юленька ухватила за эту возможность вырваться из родительского дома. Это было как раз то, о чём она мечтала, – самостоятельная трудовая жизнь, как у Джен Эйр. Александр Александрович согласился отпустить дочь.

Вскоре мама получила место учительницы французского языка и классной дамы в губернском городе Седлец. В Царстве Польском.

Хорошо представляю себе, с какой радостью и надеждами она ехала из опостылевшей Швейцарии в Россию, как много ждала от своей новой жизни... Я спросила её раз: ты была тогда счастлива, рада? Мама сказала: да, но никто не бывает счастлив и рад постоянно.

Жизнь в Седлеце отличалась от всего, что Юленька знала прежде. Жена полкового командира госпожа Люц – видная в городе дама, с характером, модница – взялась опекать «новенькую» в городе девушку, выросшую вне светских условий. Люц предоставила маме комнату и стол в своей квартире, наняла ей отдельную горничную, которой было нечего делать, и та изнывала от скуки. Мама убеждала свою опекуницу, что никакой горничной ей не нужно, но Люц заявила: иначе будет неприлично, – и Юленька подчинилась.

У мамы были хорошие педагогические способности, преподавание ей нравилось. Петербургский институт показал Юленьке, как не надо обращаться с детьми, – она хорошо усвоила те уроки. Девочки её любили и слушались. Мама совершенно преобразилась – больше никто не называл её дурнушкой, не мешал одеваться и причёсываться так, как хотелось. Более того, Люц привязалась к Юленьке и, словно дочь, вывозила её в местный «свет».

В доме полкового командира Люца постоянно бывали военные, а в офицерском собрании устраивались балы. Мама прекрасно танцевала, она была очень хорошо сложена и грациозна. Институтская благовоспитанность сочеталась в ней с непринуждённостью и полным отсутствием жеманства, и на вечерах её вскоре заметили. Теперь Юленьку наперебой приглашали, а лучший в городе танцор открывал с ней мазурку.

Неутомимая Люц подыскивала маме жениха, а она уже отдала своё сердце. Избранником её оказался тридцатилетний полковник, красавец и превосходный танцор Андрей фон Модрах. Он рано сделал карьеру, кроме того, он был русский немец. А мама совсем не знала русской жизни: институт, Швейцария, несколько французских книг – вот и весь её опыт.

Протеже Люц был мой отец, Михаил Яковлевич Лёвшин. Когда он появлялся в обществе, вокруг него тотчас собирался кружок, и он умел так направить разговор, чтобы всем было интересно. Он не только заставлял себя слушать, но давал рассказывать другим, вследствие чего беседа становилась общей, оживлённой, интересной для всех. Юленьке нравились его живость и остроумие.

Мама не рассказала мне в подробностях, отчего они с Модрахом расстались. В один день она вдруг увидела его иными глазами: он предстал перед ней не героем, а слабым человеком, и роман прекратился.

Тем временем Михаил Яковлевич успел навлечь на себя нерасположение начальства, его перевели из Седлеца в уездный город Влоцлавск. Накануне отъезда он сделал Юленьке предложение – и получил отказ. Попросил разрешения писать ей, она сказала, что запретить не может, но отвечать не будет.

Уже самое первое письмо расположило в его пользу. Михаил Яковлевич умел писать, чувство его было действительно искренним и глубоким. Люц продолжала свою агитацию, сердце Юленьки было пусто, она колебалась... Человек, которого она любила, оказался ничтожеством, а этот – умница и ценит её по-настоящему. Он так хорошо, интересно говорит, она всегда восхищалась его речами...

Когда мама наконец вышла замуж за папу, он был безумно счастлив и не сомневался, что сумеет завоевать её любовь.

Во все времена считалось, что сын – это хорошо, а дочь – обуза. Михаил Яковлевич Лёвшин был очень счастлив и горд, когда жена подарила ему первенца-сына. Он пожелал назвать младенца Александром в честь своего благодетеля Александра Сергеевича Лёвшина. Через год у Лёвшиных родился второй сын – его назвали Львом в честь другого благодетеля, Льва Ираклиевича. Михаил Яковлевич горячо любил малюток, его привязанность к ним сблизила родителей. А потом оба мальчика умерли, и мама с папой были безутешны. Мама совсем не может говорить об этом, её печаль жива даже спустя столько лет. Я пытаюсь вообразить, что у меня есть два старших брата помимо Лёли, – и не могу. Хотя и считаю со всей уверенностью, что братья куда как лучше сестёр.

В 1874 году родилась моя старшая сестра Евгения, названная в честь бабушки Евгении Яковлевны. Геничка росла краснощёким здоровым ребёнком. Лицом она походит на мать, но всё зависит от характерного излома бровей, и порой в ней можно отметить много отцовского. Геничка старше меня на одиннадцать лет, она моя крёстная, и мама говорит, что сестра очень любила меня, когда я была крошкой. Но теперь она проявляет только лишь небрежный надзор высшего существа над подопечной персоной. Я не вижу от неё тепла и ласки, но и плохого в её отношении ко мне нет. Разве что она раздражается, если я слишком пристану, и тогда гонит меня прочь.

Как ни любили родители Геничку, это всё же была дочь, а им нужен был сын, продолжатель древнего славного рода. Мой брат Алексей, по-домашнему Лёля, родился в 1878 году. Он пошёл в долматовскую породу – светловолосый, с крупными, но правильными чертами лица. И по характеру Лёля походит на маму: сдержанный, добрый, чуткий. Рос он сперва здоровым мальчиком, но двух лет на даче в Александрии заболел малярией.

Врачи мучили Лёлю лекарствами и непонятной диетой. Кто-то из знакомых посоветовал для выздоровления брата переменить климат. Лёле было лет пять, когда мама поехала с ним и Геничкой к родителям в Швейцарию. Уже по дороге ему стало значительно лучше, а в Кларане болезнь полностью отступила и более не повторялась.

К замужней дочери в Кларане относились терпимо, хотя Юлия Петровна беспрестанно восхваляла достоинства Нелли и её удачное замужество. Красавица Нелли вышла замуж за богатого и родовитого псковского помещика Львова и блистала в тамошнем «свете». Мой папа и дедушка отчего-то не ладили, но мама не открыла мне, в чем была причина их взаимной, такой глубокой антипатии.

После возвращения из Швейцарии во Влоцлавск, где отец возглавлял реальное училище, было решено завести лошадь, хотя это лишние расходы, а Михаил Яковлевич был экономен и

всегда откладывал что-то на чёрный день. Но он был важной персоной в небольшом городе, и ему следовало поддерживать свой престиж.

Михаил Яковлевич не жалел денег, когда надо было купить что-нибудь броское, кидающееся в глаза, но вкуса у него не было и лишних денег тоже. Истратив много на одном, экономил на другом. Так, он купил для гостиной мебель «чёрного дерева», обитую красным рытым бархатом. Стоила она очень дорого, но портьеры в гостиной и зале были из толстой бумажной материи зелёно-серого цвета: очень добротные, но не нарядные и совсем не подходившие к мебели.

У Юлии Александровны никогда не было полной гармонии в туалете. Когда муж покупал ей в Париже дорогую шёлковую мантилью, то обязательно отказывал в шляпе. Ей приходилось сидеть в гостях в роскошном платье, сшитом у лучшей варшавской портнихи, и прятать ноги, чтобы не было видно старой обуви. Сам Михаил Яковлевич был чрезвычайно чистоплотен и аккуратен, одежду он носил подолгу и очень берёг. Вся мебель, посуда, бельё, верхняя одежда и платье были в семье заинвентаризованы. Каждая новая вещь благоговейно вносилась в список как ценный вклад в домашнее счастье.

Юлии Александровне было трудно держать дом на широкую ногу при ограниченных средствах. Ей приходилось устраивать званые обеды и вечера, принимать попечителя и архиепископа. Супруг, составив для неё план «воспитания идеальной жены и хозяйки», ввёл в него обязательное раннее вставание. Каждое утро он будил Юлию Александровну без двух минут шесть – две минуты полагалось на одевание. (Так продолжалось всю жизнь. Юлия Александровна привыкла и даже после смерти мужа вставала в шесть часов утра, но об этом его требовании вспоминала с досадой. Видно, не так легко досталась ей эта привычка и не так уж была необходима.)

Домашнее образование Евгении требовало денег и тоже легло всей тяжестью на плечи Юлии, и так уже задрёганной сложным хозяйством, детьми и беспокойным мужем. Он потребовал, чтобы Юлия Александровна сидела на всех уроках, так как нельзя было оставлять девочку без надзора одну с мужчиной. Помимо школьных предметов Геничка обучалась рисованию, к которому имела способность.

Дети много читали, особенно Геня. Но детское чтение строго контролировалось, каждая книга, каждый журнал вначале просматривались отцом. Выписывались детские журналы, немецкие и французские. Кроме того, Геня с десятилетнего возраста училась музыке у мадам Тур, а Лёлю учила играть на фортепиано Юлия Александровна. Михаил Яковлевич считал, что мальчика надо учить играть на скрипке, но пока смотрел сквозь пальцы на его занятия с мамой. (Слух, впрочем, был плохой и у брата, и у сестры.)

Отец очень гордится тем, что Геня получила хорошее домашнее образование, наиболее приличное, по его мнению, для дворянской девицы, которую любящие родители не хотели отдать в институт. Дальнейший этап в жизни Генички – приискание хорошего жениха.

Семечки

Свердловск, сентябрь 1981 г.

Как выразилась мама, лето закончилось в тот самый момент, когда мы сели в поезд. В Свердловске нас встречал на вокзале папа, шёл проливной дождь, а мы везли с собой из Орска помидоры, яблоки, вишнёвое варенье и ещё что-то. Баклажаны! Мы ехали домой в такси, и меня затошнило от запаха в машине.

Варя вернулась из Прибалтики, как сказал Димка, вся прибалтнённая. Я не очень поняла, что это значит, но Варя действительно выглядит совсем другой, чем раньше. На ней юбка из замши, вышитая жилетка и, главное, настоящая сумочка на ремешке, как у взрослой! Ещё ей купили в Таллине детские тёмные очки и парфюмерно-косметический набор «Карлсон», о котором я давно мечтаю.

Мы с Варей очень хорошо играли целую неделю, и мама вдруг спросила:

– А что, если перевести тебя в другую школу? Будете с Варей в одном классе.

Моя школа довольно далеко от дома, я хожу туда через три дороги с машинами, и мама каждый раз нервничает и волнуется. А Варина – прямо у нас во дворе. Можно встать за десять минут до начала уроков – и всё равно не опоздаешь! Всех Вариных одноклассников и учителей я отлично знаю по рассказам, даже не нужно учить их имена. А в моей школе в последний год вообще было не с кем общаться. Марина держалась на расстоянии, да и я к ней остыла после той истории с портфелем. Наташа мне никогда особенно не нравилась. Так что мама сходила в школу, забрала документы, и с 1 сентября я пошла в Варину (а теперь уже и в *мою*) школу.

Теперь я учусь с Варей в одном классе, но мы с ней стали почему-то меньше дружить. Дома я не замечала в Варе тех черт, которые стали буквально выпирать из неё в школе. Она девочка скучная, *ведомая*, как выражается мама. В классе с Варей никто особенно не дружит, разве что Люся Иманова, у которой ужасно уродливые ноги: толстые и покрытые, как у мужчин, волосами. Люся совершенно не стесняется своих ног, носит прозрачные колготки, и школьная форма у неё очень короткая. Дома Варя смеялась над Люсей, а в школе ходила с ней под руку на переменах и перебрасывалась записочками на уроках.

Вместе со мной в класс пришла ещё одна новенькая, девочка с блестящими рыжими волосами, к которой очень шла её фамилия Тараканова. Я сразу вспомнила эту Иру Тараканову, потому что мы в детском саду были с ней в одной группе. А её старшая сестра Светлана ходила в одну группу с Димкой. Мама часто возвращалась из садика вместе с отцом Таракановых, они живут от нас через три дома. Виталий Николаевич Тараканов был не очень высокий, он всегда носил коричневый костюм и рубашку без галстука.

Держалась Ира очень уверенно. В ушах у неё были большие серьги, и классная руководительница велела их тут же снять. И заплестись, потому что Тараканова носила волосы распущенными до плеч. Нас, как новеньких, посадили за одну парту, и Тараканова спросила у меня шёпотом:

– Поедешь в воскресенье в парк Маяковского?

Люся Иманова, которая сидела сзади, ткнула Ире в спину карандашом, чтобы не разговаривала. Это был урок математики, и Тамару Викторовну я боялась ещё по Вариним рассказам. Её все боялись. Она говорила всегда очень тихим голосом, даже каким-то убаюкивающим, но этот тихий голос и нежные интонации пугали намного сильнее, чем если бы она кричала на нас и ругалась, как делают другие учителя. Гера Яковлевна по истории однажды так кричала, что у неё выпал изо рта зуб – и прилетел прямо к Варе на парту! Может быть, страшно было потому, что Тамара Викторовна действительно выполняла свои угрозы: если пугали двойкой,

то ставила её в журнал, если говорила, что весь класс придёт завтра к нулевому уроку, то все на самом деле приходили. А другие учителя как будто выкрикивали вслух своё недовольство и на этом успокаивались.

Тамара Викторовна улыбнулась, сощурилась, как добрая тётушка, и поманила к себе пальцем Тарakanову.

– Смотри-ка, только пришла, а уже болтает на уроках! – сказала она как будто даже с восхищением. – Ну-ка, давай к доске и покажи нам, как решать это уравнение. Серёжа, садись, три.

Серёжа Аксёнов, мучившийся у доски уже минут десять, отдал Таракановой мелок и резво побежал на своё место. Ира посмотрела на доску, на уже вполонину решённое уравнение, и пожала плечами.

– Мы это ещё не проходили, – заявила она.

Тамара Викторовна улыбнулась ещё шире:

– Так что же ты болтаешь с соседкой, мешаешь и ей, и себе, вместо того чтобы слушать? Ты в школу зачем ходишь – учиться? Или разговоры разговаривать?

– Учиться, – нехотя признала Тараканова.

Тамара Викторовна поигрывала шариковой ручкой, как бы задумавшись. Класс замер.

– Ладно, – сказала вдруг Тамара Викторовна. – На первый раз прощаю. Садись. Откройте учебник на странице двенадцать...

Тараканова выглядела по-прежнему невозмутимой. Разве что пахло от неё чем-то горьким, а я, по мнению мамы, всегда была чувствительной к запахам. На перемене после того урока меня схватила под руку Варя: ей хотелось предъявить классу права на подругу, потому что новенькие (особенно девочки) всегда вызывают большой интерес. Но Тараканова стояла тут же, с нами, третьей, и было ясно, что от неё просто так не отделаться!

– Вот точно, что таракан! – разозлилась Варя, такая обычно сдержанная и уступчивая.

Ира не отходила от меня ни на шаг: упорно следовала по пятам, села рядом в столовой, ждала в гардеробе.

– Так поедешь в парк? – спросила она уже около моего подъезда.

Я сказала, что спрошу родителей.

Всё это было первого сентября, а сегодня – уже девятнадцатое. Папа решительно не отпустил меня в парк Маяковского вдвоём с подружкой, и мама тоже сказала своё любимое:

– Исключено!

Поэтому я поеду в парк без разрешения. Скажу потом, что была у Вари, или ещё что-то придумаю. Завтра как раз воскресенье. Мы с Ирой договорились встретиться ровно в одиннадцать на остановке у «Буревестника».

На следующий день

В одиннадцать утра я как иттык была на трамвайной остановке. Ира пришла только через полчаса, но даже не извинилась за опоздание. В ушах у неё были очень большие жёлтые серьги в виде цветков, на пальцах – многочисленные кольца, а на шее – цепочка с ещё одним цветочком. Это называется кулон. Она выглядела очень взрослой и слегка надменной. Это странно, ведь ростом она ниже меня, а я не самая высокая в классе. Волосы у неё блестели на солнце, на плече висела сумочка почти как у Вари. Я не знала, о чём с ней говорить, и очень беспокоилась, что меня потеряют дома.

– Деньги взяла? – спросила Ира.

– Нет, – смутилась я. Мне и в голову не пришло, что в парке нам понадобятся деньги. А ведь на аттракционах никто просто так катать не станет! Я испугалась, что Ира отправит меня домой, и вместе с тем обрадовалась, потому что мне уже совсем не хотелось ехать ни в

какой парк. Совесть грызла, и совсем чужой была эта Ира с её странными украшениями. Но она нисколько не расстроилась, а даже с каким-то удовольствием похлопала по своей сумочке:

– У меня есть!

Пришёл наконец третий номер. Тараканова пробила в компостере два абонементов, кольца её жутко блестели, а я смотрела в окно с такой тоской, как будто навсегда покидала родные места. Ира достала из кармана семечки.

– Будешь? – спросила она. Мне было неловко отказываться, хотя семечек я не любила и грызть их не умела – открывала каждую руками, после чего у меня болело под ногтями. Дома у нас семечки были под запретом, как игральные карты, которые очень осуждает папа. И если семечки можно было пережить, то запрет на карты казался нам с Димкой несправедливым, ведь мы давным-давно научились играть в «дурака» и в «пьяницу».

Я протянула ладонь, Ира высыпала туда горсть семечек и начала умело щёлкать оставшиеся. Шелуху она сплёвывала себе под ноги, прямо на пол! Мне это очень не понравилось, но я не посмела сделать ей замечание. А вот бабушка, которая раньше цыкала на Ирины кольца, посмела:

– Эй ты, бесстыжая!

Ира даже головы не повернула. Тогда бабушка, не поленившись, встала с места и подошла к нам, хотя трамвай шёл быстро и вагон заносило на повороте.

– Ты что это здесь помойку устроила? А ну, собирай!

– Сама собирай! – Ира выплюнула ответ вместе с шелухой, и эта грозная старуха вдруг отступила назад. Так отступают (я видела раз) собаки, которые только что громко лаяли на незнакомого человека, пока он не взял палку и не замахнулся на них. Бабушка отступала и ворчала при этом:

– Думает, раз кольца надела, то всё можно! Ну погоди, наплачутся с тобой родители! Ох наплачутся!

Она вышла на следующей остановке. Мне было стыдно смотреть на Иру, стыдно встречаться взглядами с другими пассажирами. Семечки так и лежали в кармане куртки, я молча перебирала их пальцами. Наконец мы приехали – «ЦПКиО имени Маяковского». Я вывалилась из трамвая, как из мешка. Меня подташнивало, и я думала, что ничего хорошего сегодня уже не будет. Но Ира выглядела такой уверенной в себе, что я, шагая рядом, успокоилась. Даже подсказала ей убрать с верхней губы прилипшую чёрную шелуху.

Жёлтые ворота парка Маяковского большие и нарядные, с красивой белой отделкой. Это даже и не ворота, а что-то вроде триумфальной арки, только более современного вида. Я сразу повеселела, когда их увидела, подумала, что такие могли бы украсить и Москву, и Киев! И уж точно, что в Орске нет ничего подобного! Я вспомнила Раю и Светку, попыталась увидеть нас с Таракановой их глазами, и настроение стало совсем хорошее. В самом деле, мы идём вдвоём по самому страшному городскому парку, одни, без взрослых! Даже Димка на такое не решается!

Нас с братом всего один раз привозили в ЦПКиО прошлым летом, было очень много комаров, а цены на карусели показались маме *непомерными*. Странно, маме они кажутся непомерными, а Таракановой – в самый раз! Она шла вперёд с таким видом, как будто знала этот парк не хуже собственной квартиры.

– Сначала на колесо *оборзения*, – сказала Ира, и я не поняла: специально она коверкает слово или действительно считает, что колесо так называется? Честно говоря, мне совершенно не хотелось на нём кататься, потому что оно может остановиться именно в тот момент, когда наша кабинка будет на самом верху. А я довольно сильно боюсь высоты. Ире я об этом не сказала. Она купила билеты, и работник ЦПКиО усадил нас в одну из ржавых кабинок, которые раскачивались на ветру. Ира сплёвывала вниз шелуху от семечек, которые всё никак не заканчивались, а я ещё на половине подъёма закрыла глаза и открыла их только после того, как нашу кабинку остановила рука того самого работника. Он улыбнулся:

– Испугалась, девонька?

Зубы у него были железные, на пальцах вытатуированы перстни.

Потом Ира повела меня к цепной карусели, – пока мы летели по кругу, она раскачивала своё сиденье и подлетала ко мне так, что наши сиденья громко стукались боками. Потом мы ходили на совершенно новый аттракцион «Иллюзион», где нас мотало и крутило внутри с такой силой, что меня сразу после этого вырвало. Хорошо, что успела добежать до кустов!

Моя новая подруга вела себя непривычно во всём. Мы с ней почти не разговаривали, но усердно и старательно развлекались. Раскачивались на громадных «лодочках». Проехались по детской железной дороге. Когда захотелось есть, Тараканова купила у цыганки петушков на палочке. Мама называла их *кустарными* и строго запрещала даже пробовать, но мамы здесь не было, а петушки оказались очень вкусными. Горьковатые леденцовые крошки прилипали к зубам, в горле приятно саднило. Мы шли в сторону от аттракционов, поднимаясь вверх по аллее, где стоял памятник Кирову. Я рассказала Таракановой о Кирове, чья судьба виделась мне чудовишно несправедливой, но Ира на это никак не отреагировала.

– У тебя песенник есть? – спросила она невпопад.

Парк тем временем перешёл в самый настоящий лес. По стволу сосны взбиралась белка, сверху нам на головы падали шишки.

– Уже четыре, вообще-то, – спохватилась Тараканова, глянув на часы. Они у неё были как у взрослой, на кожаной браслетке и даже, по-моему, с секундной стрелкой. – Отец подарил, – сказала она, с удовольствием отследив мой взгляд.

Мы повернули к выходу – точнее, пошли туда, где, как считала Тараканова, должен быть выход. И заблудились.

Не знаю зачем, но я вдруг начала рассказывать Ире про маньяка, который ходит в этом парке. Теперь, когда я уже дома и пишу всё это в своей кровати, я думаю, что мне просто захотелось отплатить Ире за её независимость, щедрость и смелость. За её кольца, взрослые часы и накрашенные ресницы. За то, что она во всём превосходила меня. От страха Ира завизжала так громко, что рядом с нами кто-то вскрикнул от неожиданности, – это в кустах целовалась какая-то парочка. Девушка с длинными волосами и мужчина в полотняной куртке показали нам, в какую сторону идти, а потом мы увидели за деревьями «колесо обозрения» и выбрались на главную аллею.

А прямо у ворот стоял мой папа...

Он был в светло-сером костюме, который носит только по праздникам, и выглядел растерянным, как будто тоже заблудился. В руках у него была сумка с пластиковыми ручками – очень родная, домашняя. Я иногда беру её в музыкальную школу, когда не могу найти папку с выдавленной лирой... И я сразу заметила, что в сумке лежит какая-то коробка.

– Ксения! Ты как здесь? – испугался папа и стал озираться по сторонам, как будто ждал, что рядом появятся мама с Димкой, но рядом была только Тараканова, даже на минуту не прекращавшая грызть свои нескончаемые семечки.

– Здрьсть, – сказала папе Тараканова.

У него на лице появилось то выражение, которое я хорошо знала, – оно не предвещало ничего хорошего.

– Немедленно домой! – сказал папа, но тут же вспомнил, что мне нельзя одной ездить по городу. Он как будто бы даже застонал немного, но потом взял себя в руки – и меня за руку – и потащил к трамвайной остановке. Тараканова шла на расстоянии, невозмутимо лущая семечки.

Дома был страшный скандал. Родители заявили, что и представить не могли, какая я лгуныя! Теперь я наказана: две недели без прогулок, сразу из школы домой и никаких библиотек! И чтобы не смела даже приближаться к этой Ире Таракановой! Мама брезгливо вытрясла семечки из моего кармана в помойное ведро. Даже Димка мне сегодня посочувствовал...

Кстати, я успела заглянуть в сумку, которую папа бросил в прихожей. Там лежала моя мечта – парфюмерно-косметический набор «Карлсон». Зубная паста и одеколон в красивой коробке.

Если это не мне, то кому тогда?

Директорская дочка. Антон Деникин

Полтава, сентябрь 1894 г.

Мне было всего пять лет, когда родители покинули Польшу, но я о многом помню, хотя эти воспоминания, как считает мама, успели перемешаться с тем, что мне рассказывали позднее.

Сестру мою называли инспекторской дочкой, потому что отец был назначен инспектором в год её рождения. Я была «директорской», так как в 1885 году Михаил Яковлевич стал директором реального училища во Влоцлавске, а также действительным статским советником, то есть «его превосходительством». Я очень похожа на отца, может быть, поэтому папа любит меня, а мама считает нужным это подчёркивать. Часто слышу, что я *папина любимица, папина дочка*. Маленькую он носил меня на руках, целовал, хотя мне не очень нравились его поцелуи: жёсткая борода кололась...

Росла я, как другие дети, ходить и говорить стала рано, но маленькой сильно простудилась, и родители опасались, что у меня будет воспаление лёгких. Эту болезнь лечат очень плохо, у кого-то из знакомых от воспаления лёгких умерла десятилетняя девочка, и это так напугало маму, что она стала меня кутать, беречь от воздуха, выводить гулять только в самую хорошую погоду. Даже теперь мне не всегда позволяют гулять в зимнее время.

По маминым рассказам, Влоцлавск был красивый, хоть и небольшой уездный город с речной пристанью на Висле. Город вёл хорошую торговлю хлебом, в городе были фаянсовая и цикорная фабрика, медоваренный завод и реальное училище, имевшее добрую репутацию. Многие учившиеся там вышли в большие люди, а некоторые последовали за нашей семьёй в Лович, когда директор Лёвшин получил новое назначение.

Мама часто вспоминает одного папиного ученика по имени Антон Деникин – я его, разумеется, не помню, но по рассказам он меня очень интересует. Хотела бы я знать, что с ним сейчас случилось! Он был родом из деревни Шпеталь Дольный, отец его служил, если мама правильно запомнила, в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске. Вышел в отставку в чине майора, женился на польке из Стрельно. Жили они на пенсию очень бедно, нуждались... Когда Антону исполнилось шесть, семья переехала во Влоцлавск, чтобы он мог начать школьное ученье; квартира у них была на Пекарской улице, небольшая, но чистенькая. Антон носил мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не имел дорогих «фаберовских» карандашей и коньков, не мог купить себе *сердельку*, какие продавали в коридоре училища на буфетной стойке... Даже в летнюю купальню на Висле войти не мог – вход стоил три копейки, а на открытый берег родители его по малолетству не пускали.

Однажды, ещё до поступления Антона в училище, мой отец стал свидетелем неприятного разговора между отцом Деникина и инспектором. Этот инспектор позволил себе отчитать гимназиста 7-го класса Капустянского, который играл на улице с ребятами, по очереди подбрасывал, перевёртывал в воздухе весело визжавших мальчишек, среди которых был шестилетний Антон, босой, в плохонькой одежке...

– Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками! – прикрикнул инспектор.

Капустянский поставил Антона на землю, а тот взревел горькими слезами и помчался домой, где рассказал всё отцу.

Бывалый вояка рассвирепел, схватил шапку и направился в училище, такими крепкими словами отделив инспектора, что тот не знал, куда деваться. Потом ещё и Михаил Яковлевич ему от себя добавил, но в более вежливых выражениях.

Ученики в классе Антона были в основном польского происхождения, русских в каждом классе было два-три человека. Несмотря на запреты, мальчик разговаривал с поляками на польском, а с русскими по-русски (он знал в равной степени два языка).

Мой отец любил Антона Деникина: тот имел цельный характер, порядочно учился, хорошо пел в ученическом церковном хоре, который основал Михаил Яковлевич и очень гордился этим своим детищем. Отец заступался за Деникина, когда тот сделал большие пропуски в учёбе по болезни, даже хотел, чтобы ему надбавили баллы за экзамены в пятом классе, но учитель математики воспротивился, и Антона оставили на второй год. Целое лето мальчик репетиторствовал в деревне и так преуспел в учёбе, что на следующий год вышел в первые ученики.

Во Влоцлавском училище было тогда шесть классов, и после окончания их выпускники обычно приискивали другую школу. Деникин выбирал между Варшавским училищем, где было «общее отделение дополнительного класса», и Ловичским, с «механико-техническим отделением». И выбрал, вообразите, последнее, во многом потому, что в Лович перевели директора Лёвшина!

У Деникина к тому времени умер отец, и Антон с матерью очень бедствовали. Репетиторство было делом утомительным, да и свои уроки было нужно готовить... Решили испросить у директора училища разрешения на держание ученической квартиры для восьми человек. Отец это разрешение дал и назначил Антона старшим по квартире. Деникин надзирал за порядком, но, к сожалению, должен был ещё и заполнять ежемесячную отчётность, где следовало вписывать имена «уличённых в разговорах на польском языке». Мама говорит, что Антон всякий раз писал: «Таких случаев не было». В итоге его вызвали к Михаилу Яковлевичу. Директор сказал:

– Вы всякий раз пишете в отчётности, что уличённых в разговоре на польском не было, но я знаю, что это неправда.

Антон промолчал.

– Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну что же, подрастёте и когда-нибудь поймёте. Можете идти.

Отец понял, что Деникин не выполняет своих обязанностей, но ему и самому претила система доносов и бесчеловечного угнетения поляков. И он не стал смещать Антона «с должности»: на словах сделал ему выговор, а на деле пожалел и даже, быть может, внутри себя согласился с поведением строптивого юноши.

Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе Антона, но родители всегда вспоминают о нём с симпатией. Мама говорит, я много раз видела Деникина, будучи в младенческом возрасте, но, конечно же, не помню его, хотя по рассказам представляю отлично. Жаль, что память человека устроена так несправедливо.

Красное кольцо

Свердловск, октябрь 1981 г.

Варя посмеивается над нашей дружбой с Ирой, но мне кажется, в глубине души она немного ревнует или даже завидует. Ира очень самостоятельная, взрослая, всегда такая невозмутимая, что рядом с ней легко выглядеть маленькой девочкой. Особенно Варе с её косичками!

После той истории с парком Ира ещё несколько раз приглашала поехать вместе на Птичий рынок или пойти в кино, но родители никуда меня больше не отпускали, я ездила только в музыкалку, с отцом или мамой.

– А к тебе можно? – спросила однажды Тараканова, и я сказала, что да.

У нас дома Ира выглядела какой-то очень чужой, но и сама наша квартира как будто бы изменилась после того, как в неё вошла Тараканова. Когда Ира изучала одну комнату за другой (она даже в кладовку заглянула и на балкон попыталась проникнуть, хотя он уже был закрыт на зиму), дом стал маленьким, жалким и не слишком уютным... Шторы в гостиной давно вышли из моды, мебельной стенки у нас как не было, так и нет, а стекло в кухонной двери треснуло вдоль, будто молния ударила, да так и осталось навсегда.

– Никогда не видала столько книг, – сказала Тараканова. Это прозвучало у неё с некоторым осуждением.

Тут как раз пришёл из своей школы Димка. Он смутился при виде Иры и, возможно от злости на себя за это смущение, начал вдруг громко напевать какую-то песню с припевом «Тараканы набежали». Я не знала, как это прекратить, мне было ужасно стыдно перед Ирой, но гостя выглядела спокойной, как всегда.

– Ты Светку помнишь? – спросила она у брата.

Димка, к моему удивлению, ответил, что помнит Ирину сестру, и они начали общаться вдвоём. Без меня!

Я сначала пыталась как-то участвовать в этой беседе, но Димка постоянно перебивал меня, а Тараканова усмехалась, как будто они с Димкой взрослые, а я несмышлёный младенец! Честно говоря, я чуть не заплакала. То есть я действительно заплакала, но уже потом, когда ушла из комнаты. А они сидели там и смеялись. Тогда я просто ушла из дома – и встретила на углу Варю, которая показалась мне вдруг такой родной и хорошей...

Я вернулась домой, когда мама с папой уже пришли с работы. Димки не было.

– Видел его на улице с девочкой, – задумчиво сказал папа. – Кажется, твоя приятельница, Ксана?

– Никакая она не приятельница, – обиделась я. Мне показалось странным, что папа называет Тараканову *приятельницей* – это было взрослое, серьёзное слово. А мы ещё дети.

– Почему на ней столько украшений? – Папа как будто не слышал меня. – Как Хозяйка Медной горы...

Мама сказала:

– Родители, наверное, не уследили. Может, у матери без спроса взяла?

На другой день Тараканова как ни в чём не бывало подошла ко мне в школе и сказала:

– Сегодня к нам пойдём.

Она не спрашивала, хочу ли я идти к ним домой, не приглашала, а просто поставила, как выражается папа, перед фактом. И я не нашла в себе сил отказаться, хотя Варя сильно обиделась: ещё вчера вечером я жаловалась ей на Иру, а сегодня, видите ли, иду к ней в гости!

Таракановы живут в одной из трёх жёлтых девятиэтажек, которые стоят на Шаумяна. Совершенно одинаковые дома, но на одном сверху есть огромные буквы «БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА УЛИЦЕ!» Вот это и есть их дом.

Всего один подъезд, лифт ходит медленно, с тяжёлыми, почти человеческими стонами. Сильно пахнет помойкой. Мы поднялись на третий этаж, Ира открыла дверь ключами. Я думала, дома никого нет, но из кухни вдруг вышел Виталий Николаевич, отец Иры. Он был в тренировочных штанах и с газетой. Я только сейчас заметила, какие у него странные глаза – тёмно-жёлтого или, можно сказать, горчичного цвета.

– Привет, – сказала отцу Тараканова.

– Привет, – отозвался Виталий Николаевич. – Много двоек принесла?

– Прекрати, – сурово одёрнула его дочь. Хотя, между прочим, получила в тот день целых две «пары» – по математике и русскому.

Мы прошли в Иринину комнату, она же, видимо, гостиная. Я озиралась по сторонам, потому что нигде и никогда раньше такого не видела. Всё здесь было заставлено шкафчиками и комодиками, так что с трудом нашлось место для тумбы с телевизором и тахты, на которую мы и уселись. Ира принесла с кухни целый батон, мы отрывали от него куски и запивали молоком из одной бутылки по очереди. Было и вкусно, и противно сразу. Я старалась не думать о том, что сказала бы на это мама.

На полках в Ириной комнате сидели и стояли куклы – их было, я потом сосчитала, тридцать шесть! Тридцать шесть кукол, от пупсика до гигантской ходячей Наташи, страстной мечты моего раннего детства (если верить бабушкиным рассказам)! Была даже кукла-негритянка в синем платье и с золотыми серьгами в ушах.

– Коллекция, – махнула рукой Тараканова. – Ещё Светка начала собирать. А ты что копишь?

– Марки, – сказала я. – Вкладыши от жвачки.

– А Дима?

– Значки и тоже марки. Только у него фауна, а у меня флора.

– Понятно! – бодро отозвалась Ира. – А я мыло коплю. Показать?

Не вставая с места, Тараканова протянула руку и вытащила из-под куклы-негритянки большую картонную коробку. Там действительно лежало душистое мыло в упаковках – индийское, германское, югославское... Ира открыла одну из пачек, и мне на ладонь выпал гладкий зеленоватый брикет с выдавленными буквами *Lux*. Запахло ландышами и ещё чем-то свежим, приятным.

Потом Тараканова показала мне шкатулку с соломенной инкрустацией. Там хранились драгоценности, лежали, свившись как змеи, золотые и серебряные цепочки, сцепившиеся серьги и кольца. Некоторые камни в перстнях были потемневшими, наверное, они были очень старые и их часто носили. Я запомнила один очень необычный перстень – камень в нём переливался, как мокрый! Тараканова взяла его у меня и бросила обратно в шкатулку. А потом, усмехаясь, вытащила оттуда пластмассовое красное кольцо и вручила мне со словами:

– Дарю на память!

Такие кольца продают в киосках «Союзпечать». Конечно, я не ждала, что Ира подарит мне старинный перстень с переливным камнем, но лучше бы я обошлась вообще без подарков. Я не знала, как поступить, вертела кольцо в руках. Ира сама – как жених в сказке! – надела его мне на палец. И сказала, чтобы я шла домой.

Снять кольцо я попыталась ещё на лестнице, но у меня ничего не вышло. Когда пришла домой, палец посинел, но проклятое кольцо так и не снималось, хотя я крутила его во все стороны так, что горела кожа.

– Что это у тебя? – изумилась мама. – Ксана, разве можно носить такие безвкусные вещи? Где ты взяла кольцо?

Она говорила всё это, а сама намыливала мне палец мылом (туалетным, никакого *Лих*) над раковиной. Кольцо соскользнуло маме в ладонь.

– Выброшу? – спросила она с каким-то даже состраданием.

Я ответила, что подарки выбрасывать нельзя, и спрятала кольцо в ящик стола, где хранится мой дневник. Вечером я долго не могла уснуть, всё ворочалась с боку на бок и пыталась понять, что показалось мне у Таракановых самым странным. Точно, что не куклы, и не мыло, и не клубки из цепочек, и даже не папа с его жёлтыми глазами...

Только засыпая, я вспомнила: у них совсем не было книг. Ни в одной комнате.

Следующим вечером

Как же я завидую Ксеничке, что у неё была такая интересная жизнь! А у прабабушки Юлии – ещё интереснее! Гимназии, гувернантки, домашнее музицирование...

Мне тоже хочется стать летописцем нашей семьи, рассказать, например, о маминых корнях. Я расспрашивала маму о наших предках, и вроде бы ей это было приятно, хотя рассказала она не так много – что бабушке Нюре и деду Славе досталось очень трудное детство. Поэтому они так усердно трудятся даже теперь, когда могли бы лежать на диване и отдыхать. Поэтому берегут каждую копейку и не позволяют выбрасывать и крошки хлеба. Поэтому бабушка бывает такой суровой. Почему-то их заставили в 1924 году уехать из родной деревни в Пензенской области. Там у них были дом, корова, овцы, лошади. Они выращивали хлеб, то есть рожь и пшеницу. Но их оттуда выгнали, причём сначала отца, а потом уже мать с детьми. Нюре тогда было десять лет, почти как мне, а младшему Мише всего шесть. Так они попали в далёкий жаркий Орск. И трое суток просидели на вокзале, пока не нашли каких-то добрых людей – они отвели их к отцу в какой-то посёлок. Дети все эти три дня ели зёрна пшеницы, больше у них ничего не было, и пили воду из вокзального крана. Мне так жаль стало маленькую бабушку Нюру, что я даже немного поплакала, а потом села писать ей письмо. Рассказала про все наши новости, про то, как я закончила четверть (без троек).

Димка наконец уснул (вот только что), и теперь я могу достать из тайника тетрадь с пометкой «Хабаровск». Это уже взрослая Ксеничка вспоминает своё детство. Дополнительно к своим детским дневникам (там иногда тоже попадают взрослые примечания, между строк или в скобках). Я, кстати, нашла на карте этот город Хабаровск, он близко от Китая! Не представляю, сколько дней ехать туда на поезде. Неделю? Две?

Первый бал Евгении Лёвшиной

Хабаровск, апрель 1951 г.

Из воспоминаний Ксении Михайловны Лёвшиной

Одна из наших полтавских знакомых, Юлия Ильинична Шафранова, с которой мне пришлось впоследствии встретиться в Петербурге, поделилась со мной воспоминаниями о первом появлении отца и Генички на каком-то вечере. Я рассказу Шафрановой верю, так как она очень дружелюбно относилась к Лёвшиным, говорила о главе семьи с уважением, вспоминала его умные быстрые глаза и увлекательную речь, но отмечала чересчур большое самолюбие.

Итак, первый выход в свет. Михаил Яковлевич входит в зал под руку с дочерью, когда большая часть публики уже собралась. Очевидно, он опоздал намеренно, чтобы обратить на себя внимание, вошёл медленно и важно, как крупный сановник, знающий, что все на него взирают. И действительно, весь зал смотрел на эту пару, едва удерживая улыбку: до того комично было явление маленького чванного чиновника и его коротенькой, нескладно толстой, красной как рак (от волнения или злости) дочери, одетой в яркое розовое платье. Дебют был неудачен и сразу закрыл Лёвшиным доступ в некоторые дома.

И всё же года через три после переезда в Полтаву знакомств набралось порядочно. Знакомство с Забаринскими многое изменило в семейном укладе. Теперь на Рождество и Пасху к Лёвшиным прибывали один за другим взятые на час извозчики, и торопящиеся мужчины в сюртуках и мундирах кланялись, поздравляли, пожимали руки и на минуту присаживались, чтобы тут же вскочить и ехать дальше. Эти гости отказывались не только отведать какие-нибудь яства праздничного стола, но даже от того, чтоб выпить рюмку превосходного старого токайского. Некоторое количество бутылок этого вина составляло привезённый из Польши «погреб» Михаила Яковлевича. В своё время он завёл его в подражание богатому дядюшке-помещику Александру Сергеевичу.

На второй день праздника приезжали с визитами затянутые в корсеты дамы. Они сидели дольше, иногда соглашались выпить чашку чая, на Пасхе рассказывали об удаче или неудаче с выпечкой «тюлевой» бабы. Юлия Александровна «тюлевую» не признавала:

– Восемьдесят желтков – и столько тревожений!

Она делала «кружевную» из шестидесяти желтков, и всегда удачно. В дни выпечки баб не разрешалось бегать по комнатам, хлопать дверьми и даже играть на рояле, так как и «кружевная» была капризная, могла опасть.

Михаил Яковлевич и Юлия Александровна также делали визиты по праздникам и ходили в гости. Детям нравилось, когда отец надевал цилиндр. В первый раз, увидев эту высокую чёрную блестящую штуку, я решила, что это коробка, и очень удивилась, когда папа водрузил её себе на голову. Зимой он носил длинную, чуть не до полу, медвежью шубу с бобровым воротником и высокую боярскую шапку.

Иногда Юлия Александровна уезжала на званый обед вдвоём с Геней и заходила в детскую проститься со мной. Она казалась мне прекрасной в сером муаровом платье ловичских времён, окаймлённом по подолу рюшью из серых страусовых пёрышек, и с наколкой из настоящих кружев на седых волосах. Когда-то этот наряд стоил очень дорого. Было ли это платье модным или хотя бы достаточно свежим в Полтаве? Хорошо ли себя чувствовала в нём Юлия

Александровна? В блеске серого муара лицо её не было весёлым, и она лишь нехотя улыбалась в ответ на мои восторги.

Что случилось с Ольгой

Свердловск, весна 1982 г.

Восьмое марта был раньше мой самый любимый праздник, но теперь уже никогда таким снова не станет. Даже несмотря на то, что я получила от папы с мамой тот самый парфюмерно-косметический набор «Карлсон», о котором так долго мечтала! Интересно, тот ли это набор, который лежал в сумке тогда, в парке Маяковского. Родители часто припрятывают хорошие вещи, чтобы подарить их потом мне или Димке по какому-то случаю. Мне это очень не нравится. Когда я вырасту, буду дарить своим детям подарки просто так, не обязательно в честь праздника. Честно говоря, за это время мне уже расхотелось иметь этот набор, он какой-то слишком уж детский. Я бы лучше душилась («душнилась», как говорит Тараканова) «Шахерезадой». Это сладкие духи в маленькой бутылочке, они слегка зеленоватые на вид, а не жёлтые, как мамины «Роша», которыми я иногда мажусь, если мама не видит. Конечно, «Шахерезада» есть у Таракановой! У неё вообще всё есть.

Сразу же после зимних каникул Ира начала приходить к нам в гости чуть ли не каждый день. Причём, её интересую не столько я, сколько Димка. Ира сидит в моей комнате и крутит головой, как сова, прислушиваясь к разным звукам. А когда Димка возвращается из школы, она уходит вроде бы как в туалет и на обратном пути оказывается уже в его комнате. Мне это всё ужасно неприятно, но я не решаюсь поговорить об этом с мамой и тем более с братом. Димка, судя по всему, не слишком тяготеет Ириным обществом, во всяком случае, дома он стал бывать значительно чаще прежнего. Ну вот, не хотела рассказывать про Тараканову – и целую страницу про неё исписала!

Будто бы нет других причин расстраиваться!

Вчера вечером я услышала телефонный звонок и схватила трубку раньше папы. У нас два аппарата: у родителей в спальне жёлтый, а в коридоре – чёрный. Я даже не успела сказать «алло», как вдруг услышала чужой детский голос:

– Папа, это ты?

И мой папа, представляете, сказал:

– Да, Танечка, это я. Но ты же знаешь, что сюда мне лучше не звонить?

Он так ласково говорил с этой незнакомой Танечкой, словно боялся её обидеть. Я затаила дыхание и слушала. У моего папы есть ещё одна дочка? Моя сестра, которую от меня скрывают?

Танечка говорила очень быстро, и я не всё понимала в этой сбивчивой, щебечущей речи. Зато я заметила, что голос у неё очень похож на мой. Как будто это я позвонила папе и слушаю каким-то удивительным образом наш с ним разговор по параллельной линии. От этого можно с ума сойти! А ведь мне нужно было ещё и не дышать, чтобы они меня не слышали... В конце концов я уловила смысл Танечкиных слов: она благодарила папу за подарок, потому что давно мечтала о наборе «Карлсон»...

У меня внутри всё куда-то ухнуло и оборвалось. Получается, что наш с Димкой папа – ещё и папа совершенно чужой девочки. А что, если она похожа на меня, как близнец? А что, если *она и есть* мой близнец, которого прячут от всех в железной маске, как в романе Дюма? Тогда я бы очень хотела с ней познакомиться! Наконец-то в моей жизни тоже произошло что-то действительно интересное и необычное. Сестра-близнец намного лучше подруги! Мы бы менялись с ней местами, как Электроник с Сыроежкиным! Как принц и нищий!

Я так увлеклась этими мыслями, что незаметно для себя начала довольно громко дышать в трубку, а папа как раз в тот момент просил Танечку звонить ему по рабочему номеру и очень

заботливо спрашивал, не забыла ли она его. Танечка сказала, что ей очень хотелось поблагодарить его, потому что мама (какая мама?) отдала ей набор именно сегодня. И что завтра выходной.

Папа сказал: «Подожди-ка минутку, Танечка» – и вышел из спальни! Я повесила трубку и забежала в ванную. Включила воду. Чем окончился их разговор, я не знаю, но радость от того, что у меня имеется сестра-близнец, куда-то исчезла. Я долго намыливала руки, смотрела, как утекает в слив кудрявая пена, и мне казалось, вместе с этой пеной исчезает что-то очень важное, ценное, то, что никогда уже ко мне не вернётся.

Мне хотелось поговорить с кем-то об этом случае, но я не решилась спрашивать папу, а маме, я чувствовала, эта история не понравится. Можно было бы довериться Димке, но в последнее время, когда он дома, в его комнате почти всегда сидит Тараканова, брякая своими кольцами и благоухая «Шахерезадой». С Варей мы совсем перестали общаться, она теперь дружит с Люсей Имановой и даже подарила ей пупсика на Восьмое марта. И в школьных анкетах на вопрос «Ваш лучший друг» пишет не «К. Л.», а «Л. И.».

Как жаль, что невозможно рассказать обо всём Ксеничке Лёвшиной!.. Ксеничка такая умная, она обязательно дала бы мне хороший совет.

Я долго не могла уснуть в тот вечер, а ночью несколько раз просыпалась и думала, что больше не люблю день Восьмого марта. И никогда не смогу его полюбить.

Спустя две недели

Ура! Ура! Ура!

Я буду учить французский язык! Папа нашёл через знакомых учительницу, которую зовут Майя Глебовна, причём у неё французская фамилия Ришар. Честное слово, Ришар, как у того смешного киноартиста, который вечно спотыкается на ровном месте.

Это вам не какая-нибудь Быля. Это настоящая француженка, пусть и в четвёртом поколении! Её прадедушка бежал из Франции, потому что был коммунистом (очень правильно сделал), и у них в семье исторически знают французский язык. Майя Глебовна живёт далеко, на улице Гагарина во Втузгородке, но я буду ездить туда самостоятельно, по вторникам и пятницам, когда нет музыки.

Надеюсь, что бабушкины способности к языкам передались мне по наследству. Ведь если она даже дневники иногда вела на французском, так, наверное, знала его в совершенстве, как и немецкий. Я ещё и поэтому хочу выучить французский, чтобы прочитать те тетрадки – там, наверное, самое интересное!

Вчера, когда пили чай, я спросила у папы, как умерла его мама, и он уронил чайную ложку под стол.

– Сейчас Тараканова придёт! – заметила мама. Она только что вошла в кухню и не слышала, о чём я спрашивала. – Ложечка-то маленькая...

И выразительно посмотрела на Димку, а он почему-то покраснел и полез под стол за ложкой. Обычно так никто не делает, ведь кто уронил, тот и поднимает!

– Мама умерла в блокаду, от голода, – сказал папа.

– А почему ты нам об этом не рассказывал? – удивился Димка. – Мы на истории недавно проходили блокаду.

Папа встал и вышел из-за стола, хотя сам всегда говорит, что так делать неприлично. Мама тихим голосом стала объяснять, что для папы это очень тяжёлая тема. Его совсем маленьким успели отправить из Ленинграда, и он почти не помнит своей мамы. У него даже фотографий не сохранилось.

Но ведь в стенном шкафу хранятся дневники Ксении Михайловны! Там столько о ней, что можно и без фотографий обойтись! Хотя посмотреть на неё, конечно, тоже интересно. Я представляю её похожей на меня, только немного ниже ростом...

Мне очень жаль Ксеничку, что она погибла в голодном Ленинграде из-за фашистов. Я даже поплакала вчера перед сном. А утром мама сказала про уроки французского, и я опять стала совершенно счастливой!

Вечером следующего дня

Майя Глебовна открыла дверь только после третьего звонка – я уже испугалась, что адрес неверный или я пришла не ко времени. Совсем молодая женщина с гладким и полным лицом и в длинном шёлковом халате, от которого во все стороны летят трескучие искры. В квартире был свой, особенный запах, скорее неприятный. Так пахнет старая одежда, которую давно пора выкинуть.

К моему приходу готовились – меня это даже немного удивило. Родители Майи Глебовны приветливо кивали, бабушка тащила из комнаты пылесос, а молодой человек с усиками (как выяснилось, муж моей учительницы) пошёл в кухню заваривать чай, подмигнув мне по дороге так, что я покраснела. Мне ещё никто никогда не подмигивал, и я не знала, как на это реагировать.

Мысли мои разбежались по сторонам, а ведь Майя Глебовна уже минут пятнадцать объясняла мне про французский алфавит и основные правила чтения. Я кивала и даже что-то записывала в своей красивой новой тетради, но это был совершенно бесполезный труд. Ещё я зачем-то вспомнила Былю, её платье в мутную клетку и то, как она кричала на меня: «Эс це ха! Здесь эс це ха, ну что за бестолочь, никак не может запомнить!»

Французский, конечно, намного красивее немецкого, даже если судить по произношению. Французские слова падают, словно капли крови, быстрые и тёплые, а немецкие скрежещут пилкой по стеклу...

В дверь постучали, и у меня исчезли даже посторонние мысли. Я и не знала, что могу влюбиться за секунду в чужого мужа, который всего лишь подмигнул небрежно в прихожей! Я ведь даже имени его не запомнила, то есть Майя Глебовна представила его, когда мы знакомились, но имя исчезло вместе с мыслями. Кажется, оно было детским – не то Артём, не то Денис, несерьёзное какое-то... Но в комнату вошла всего лишь мама Майи Глебовны, улыбающаяся женщина в возрасте Были, но намного женственнее. Она держала в руках поднос с тёмно-синими чашками с золотым ободком (у нас дома такие же), ещё там были сахарница и блюдце с печеньем «хворост».

Мы сделали перерыв. Мама Майи Глебовны подливала чай и так умильно смотрела на меня, что я несколько раз чуть не подавилась «хворостом». К тому же мне было стыдно за то, что я чувствую затхлый запах, исходящий от хозяев и от всей их квартиры... Думаю, французский язык всегда теперь будет иметь для меня некоторый затхлый привкус. Потом моя учительница ненадолго вышла (меня ударило током от её халата), а её мама сказала, что Майя сама ещё студентка, но решила давать уроки, потому что жить тоже на что-то надо.

– Вообще-то мой муж на четверть француз, – любезно пояснила она, размешивая сахар в своей чашке. Я кивнула. Мне было очень скучно.

За дверью кто-то хохотал и слышались такие звуки, как когда люди целуются. У мамы моей учительницы на шее появились мелкие розовые пятна, словно бусы. В самом конце этого странного урока в комнату пришёл ещё и папа Майи Глебовны. Он попросил меня сказать слово *oui*, но я накрепко закрыла рот, как однажды сделала на приёме у зубного врача (мама потом со мной полдня не разговаривала).

И вот теперь я думаю, что не очень-то хочу продолжать эти уроки, где со мной занимается не один человек, а целая семья. Это не занятия французским, а что-то совсем другое, бессмысленное и неприятное. Но как это объяснить родителям?

А ещё я очень злюсь на себя за то, что так быстро и неудачно влюбляюсь. Когда я уходила от Майи Глебовны, то мельком увидела в дальней комнате Артёма-Дениса – он лежал на кровати с гитарой. И я даже не успела запомнить его лицо. Только усики щекочут память...

Через два месяца

Сегодня 21 мая. Мой день рождения. Родители подарили мне платье и книгу «Записки о Шерлоке Холмсе», Димка – голубые ажурные гольфы. Думаю, что их тоже купила мама и просто дала брату, чтобы он меня поздравил. Гольфы красивые и подходят к платью. Гостей позвали заранее – Варю, Люсю Иманову (пришлось, потому что она очень навязывалась), Тараканову, Рыбку и Ольгу.

Пришли все, кроме Ольги, и это очень странно, потому что она была явно рада приглашению и даже спрашивала, что бы мне хотелось получить в подарок. Я сказала, что мне ничего не нужно, – не представляю, как можно иначе ответить на этот вопрос. Тогда Ольга пообещала сама что-то придумать. Я её очень ждала, даже не хотела садиться за стол, но мама шепнула мне на ухо, что это невежливо по отношению к другим гостям.

Могла хотя бы позвонить!

Варя подарила мне переливной календарик и книгу Бориса Алмазова «Самый красивый конь», у меня уже есть такая. Рыбка вручила шоколадку «Сказы Бажова» и книгу «Малахитовая шкатулка» – она зачем-то подписала её, разлиновав угол на первой странице. Я считаю, книги может подписывать только автор, но, конечно, Рыбке об этом не сказала. Люся Иманова принесла самодельную шкатулку из разрезанных открыток, сшитых толстыми цветными нитками. Тараканова вручила золотую цепочку, чем очень смутила моих родителей. Мама сказала, что мы не можем принять такой дорогой подарок, но Ира очень по-взрослому ответила:

– Я вас умоляю, тётя Вера! – Она всех знакомых взрослых зовёт тётями и дядями, и я вижу, как мама от этой «тёти» вздрагивает.

Настроение у меня было не очень хорошее. Варя демонстративно общалась только с Люсей, Рыбка ела за пятерых, а Тараканова, как водится, незаметно исчезла сразу после чая, чтобы остаться вдвоём с Димкой в его комнате. У них там очень громко играла музыка – итальянцы. Димке кто-то записал целую кассету – Пупо, Аль Бано и Ромина Пауэр, «Рикки э повери». Варя спросила: нельзя ли нам тоже пойти послушать музыку? Мы постучались в дверь Димкиной комнаты, но нам никто не ответил, а ворваться я почему-то не решилась, хотя у меня, между прочим, был день рождения. Потом Рыбке стало плохо, потому что она одна заглотила полторта (хорошо, что без свечек, пошутил папа), и её ужасно противно тошнило в туалете.

Вечером, когда все ушли – даже Тараканова, хотя она сидела в Димкиной комнате до полной темноты и «Феличиту» они прослушали раз тридцать, – я всё смотрела в Ольгины окна, они как раз напротив наших. Одно было ярко освещено, а другое оставалось тёмным. И никаких людей там видно не было.

Что же случилось с Ольгой, почему она не пришла? Неужели просто забыла о моём дне? Полночи я не могла уснуть, бегала то на кухню, то в туалет... Потом со скуки принялась перебирать подарки. Гольфы при ближайшем рассмотрении оказались всё-таки слишком уж детскими. Тараканова даже в жару носит капроновые колготки.

Я решила примерить цепочку, Ирин подарок, и пошла в ванную, потому что там хорошее, неискажающее зеркало. Расцепила замок, но застегнуть его почему-то не сумела. Много раз пыталась, даже пальцы заболели и на указательном появилась красная бороздка. Но ничего не получилось.

В дверь ванной постучали, я открыла и увидела сонную сердитую маму в ночной рубашке.

– Ну что за полуночница! – рассердилась она. – Ведь завтра в школу!

– Я никак не могу цепочку застегнуть, – сказала я маме и вдруг разревелась.

Мама погладила меня по голове, как маленькую, и я с наслаждением поплакала, умирая от жалости к себе. А потом мама взяла у меня цепочку и поднесла её ближе к лампочке.

– Замок поцарапанный, Ксана, – сказала она. – И погнутый, вот, смотри. Это не новая вещь, её кто-то долго носил до тебя. Неизвестно кто.

Мама очень брезглива, она никогда не пользуется чужими вещами, даже не разрешает мне донашивать одежду за дочками своих подруг. А вот Рыбка, наоборот, всегда одевается в обносочки, и там попадаются такие красивые вещи! Я решила, что не буду носить золотую цепочку Таракановой (она, кстати, говорит цепочка), убрала её в самодельную шкатулку Люси Имановой и спрятала в верхний ящик стола, который стараюсь открывать как можно реже, потому что он сломан и застревает.

А перед тем как всё-таки лечь спать, ещё раз высунулась в окно и увидела, что теперь у Ольги оба окна ярко освещены и в одном отчётливо видны сразу несколько силуэтов. Может, к ним родственники приехали?

От букета сирени, которая стоит у меня на столе (её принёс папа), кружится голова и внутри всё странно дрожит. Может, это и не от цветов, я не знаю. Сирени в этом году очень много, она зацвела рано и одновременно по всему городу. Как будто кто-то дал приказ – цвести!

22 мая

Ольга пропала. Вот прямо по-настоящему пропала! Мама разбудила меня утром, сказала, что Ольгины родители ночью звонили, спрашивали, может, мы что-то знаем, видели её... Ольга не сказала родителям про мой день рождения, ушла из дома ещё днём, вроде бы гулять с какими-то подругами. Мама пыталась утешить Ольгиных родителей, но сама, я видела, очень разволновалась. Папа – тот вообще весь сразу побледнел.

В школе я рассказала об этом Таракановой, но она только плечом дёрнула пренебрежительно: «Может, у парня осталась. Делов-то!» Не думаю, что красивая умная Ольга может остаться у какого-то парня, не предупредив маму и папу. Она совсем не такая. После третьего урока в школу приходил милиционер и говорил о чём-то с Ольгиными одноклассниками и физичкой Натальей Николаевной, которая у них классная.

Я ни о чём другом не могла думать, кроме как о том, что случилось с Ольгой, – и боялась своих мыслей. Фантазия у меня совершенно неуправляемая.

Почитаю лучше Ксеничкины дневники. Только они меня успокаивают и утешают.

В окнах у Ольги – темнота.

24 мая

Вчера утром в парке Маяковского нашли Ольгу. Её задушили собственной кофточкой. Я думаю, это была та спортивная кофточка, в которой Ольга открыла мне дверь, когда я приглашала её на день рождения. Синяя, с белой полосой... Получается, Ольга умерла в тот самый день, когда мы сидели за столом и праздновали. Может, именно в тот момент, пока я примеряла цепочку Таракановой, маньяк убил нашу Ольгу.

Похороны – через три дня. Мама сказала, что пойдёт туда вместе со мной и Димкой. Рыбка тоже пойдёт, и Люся Иманова, и Варя, если её отпустят. Тараканова уехала куда-то в деревню к родственникам, ведь учебный год уже закончился.

Не могу больше ничего сегодня писать. Ксеничка, помоги, Расскажи о том, что было сто лет назад...

Болтава

Полтава, ноябрь 1894 г.

В первый раз я услышала, что мы уезжаем, во время обеда. Было светло и солнечно, в столовой шёл общий возбуждённый разговор. Отец был весел, а мама хмурилась. Родители последовали чьему-то совету перебраться в Полтаву – город, утопающий в садах, со здоровым чистым воздухом и дешёвой жизнью. У отца были сбережения, которых хватило бы на покупку небольшого деревянного дома. Он мечтал разбить около дома плодовый сад и найти в этом деле новую работу и отдых.

Весть об отъезде меня не слишком поразила, я была всё же ещё слишком мала. Меня заинтересовало лишь слово Полтава, которое мне послышалось как «Болтава». Я сейчас же сопоставила это слово со словом *болтать* и сказала какую-то чепуху о том, что в Болтаве, наверное, живут одни только болтуны. Все стали смеяться, и это мне очень польстило.

По какой-то причине отъезд наш задержался, мы выехали только в середине сентября. Сборы начались как-то вдруг и шли с лихорадочной поспешностью: надо было освободить квартиру для нового директора училища. Отец выехал в Полтаву, чтобы нанять квартиру, а укладывали вещи мама и Геня. Наша квартира преобразилась. Сперва исчезли занавеси и портьеры, потом – картины и зеркала. Гостиная и столовая опустели, зал превратился в складочное место, теперь там стояли незнакомые большие шкафы – обитатели глубинных комнат. Они стояли с раскрытыми дверцами, и в них укладывали тюки, подушки, другие мягкие вещи. Стулья соединялись попарно, в них тоже что-то накладывали, а потом зашивали в рогожу. Вороха бумаги и стружек валялись на полу...

В груди ещё не уложенных вещей лежала длинная коробка, оклеенная по краям узкой голубой полоской. Любопытство моё разгорелось, но тут вошла мама, сказав: «Ничего на столе не трогай».

Соблазн был слишком велик. Лишь только я осталась одна в зале, как тут же подошла к столу и приоткрыла верх коробки. Там лежала чудесная белокурая кукла в чулочках и туфельках, такая не похожая на моих ободранных «детей». Раздались мамины шаги, я поспешила закрыть коробку и отошла в сторону, сделав вид, что занимаюсь чем-то другим. Мама подозрительно взглянула на меня, потом взяла коробку и унесла её. Это был мой первый сознательный грех. Я поняла, что не послушалась и обманула маму и что эта кукла, предназначенная на мой день рождения, не принесёт никакой радости.

Дорогу я толком не запомнила, да и поездка по железной дороге не была для меня новостью. В Кременчуге мы сели на пароход, переправились через Днепр. Погода была холодной, шёл мелкий дождь. Я сидела с мамой в каюте и глядела в круглое окошечко, из которого была видна свинцовая, волнующаяся поверхность реки. Круглые иллюминаторы меня удивили и напугали, вода через них казалась чересчур близкой и страшной, но ехавшие с нами дамы разговаривали со мной очень ласково, это меня отвлекло и утешило.

Так завершилась первая – польская – глава моей жизни.

Похороны

Свердловск, май 1982 г.

Когда я пишу о чём-то тяжёлом, становится немного легче. Кажется, что горе утекает в слова, как в трубу, но потом всё опять возвращается.

Четыре дня прошло, как мы похоронили Ольгу.

До этого я лишь раз была на похоронах, в Орске, хоронили старенькую бабушкину знакомую. Я тогда старалась плакать вместе с мамой, но мне не было грустно. Сейчас всё совсем по-другому.

Все собрались у Ольгиного подъезда в одиннадцать часов утра. Мама принесла большой букет сирени, а Люся Иманова отломала у яблони цветущую ветку, хотя Ольге бы такое не понравилось. У меня в горле что-то застряло с того самого дня, как я узнала про Ольгу. Я не могла ни проглотить это, ни выплюнуть. Мама сказала, что это моё горе и что потом оно постепенно будет таять и однажды исчезнет, а останется только светлая грусть.

Я не плакала, хотя все остальные девочки сильно ревели. Варя рыдала так, как будто они с Ольгой были лучшие подруги, а ведь они виделись только в школе. Моя мама тоже плакала. Ольгину мать вывели из подъезда под руки, сама она идти не могла. Это красивая женщина с густыми чёрными волосами, но теперь она была совсем седая и очень уставшая.

Гроб стоял у подъезда, и там лежала совсем незнакомая девушка. Я никогда не узнала бы в ней мою весёлую, красивую подругу. Девушка была в белом платье и с белой ленточкой на голове, а в жизни Ольга никаких лент не носила, тем более белых платьев.

– Как невеста, – причитали бабушки из первого корпуса. – Как будто спит...

– Говорят, он после смерти над ней глумился, – сказал кто-то за моей спиной, но, когда я обернулась, там уже никого не было.

Сиренью пахло так, что у меня заболело в левом виске. Я подумала, что слова «сирень» и «смерть» состоят из одинакового количества букв, начинаются и заканчиваются на одинаковые буквы. Когда думаешь про такие вещи, это чуть-чуть успокаивает. Это как счёт – если страшно или больно, надо обязательно считать от одного и до ста. А потом – обратно.

На кладбище мы добирались в автобусах – они заехали прямо во двор. Ольгин отец – главный инженер на заводе, поэтому автобусы были с предприятия. А из суда, где работает её мать, прислали несколько венков с чёрными лентами, как у моряков на бескозырках, и с такими же точно золотыми буквами... Я в автобусе села вначале вместе с мамой и девочками, а потом перешла в самый конец, к Димке и мальчикам из Ольгиного класса. Они говорили довольно тихо, но я их хорошо слышала, у меня развит дополнительный, как я его называю, слух. Я слышу даже больше, чем нужно.

Мальчики рассказывали Димке, как нашли Ольгу. Она поехала в тот день в парк Маяковского (прямо как мы с Таракановой!) – должна была встретиться с какой-то подругой не из школы, но та почему-то не пришла. Нашли Ольгу в той части парка, где он уже переходит в лес. На шее затянуты рукава кофточек, лицо испачкано чем-то чёрным, но не землёй, а как бывает, если тронешь свежую газету...

На кладбище народу стало ещё больше. Земля, которую раскопали под могилу, была совсем даже не чёрная, как я себе представляла, а бледно-жёлтая. Ольгина мама долго не разрешала закрывать гроб и плакала так, что у меня в носу щипало, как в бассейне, когда вдыхаешь хлорированной воды. Но я не плакала, и мне было стыдно, что я никак не проявляю своё горе, крепко засевшее в горле. Потом гроб опустили в могилу, и мы все бросали туда комочки земли. Они разбивались о крышку гроба.

На поминки мы не поехали, вернулись домой на 41-м автобусе. Димка сразу куда-то ушёл, и я сидела одна, пока не стемнело. Выглянула во двор, где невыносимо пахло сиренью, и увидела чёрное Ольгино окно.

И тогда уже заплакала.

Дом Пащенко

Полтава, декабрь 1894 г.

Мой первый день рождения в Полтаве отмечали не так, как было заведено в Польше. Не было традиционного столика с подарками, вообще никакого праздника не получилось. Утром 19 октября меня поздравили и вручили ту роскошную куклу, которую я мельком подсмотрела в Ловиче при укладке. Я была рада, но к этой радости примешивалось неприятное чувство: родители думали, что сделали мне сюрприз, а я знала о нём, но никому не сказала. Поступила нечестно.

Через неделю был день рождения Гени, ей исполнилось шестнадцать – церковное совершеннолетие, большой праздник. Если бы Геничка оставалась директорской дочкой, день её рождения отмечали бы с большою помпой, отец дал бы бал. Сестра получила бы прекрасные подарки, стала бы центром внимания многочисленных гостей. Она так предвкушала радости этого дня, но увь! Отставной директор в чужом городе, в квартире, загромождённой нераспакованными вещами, мог лишь вручить ей купленный ещё в Ловиче золотой браслет...

Только глубокой осенью мы наконец переехали на новую квартиру в доме Пащенко на Ново-Полтавской улице. Меня закрыли в пустой комнате с моей куклой, чтобы я не простудилась от открытых дверей. Было невыносимо скучно. В комнате стоял лишь один стул, а на полу лежало несколько бьющихся вещей, которые следовало аккуратно обходить стороной и не трогать. Мама заглянула на минутку, поставила на стул блюдо с какой-то едой и опять заперла дверь.

Шум и голоса за дверью стихли только к вечеру, явилась мама, и меня отвели на новую квартиру, где уже находились отец, Геня и Лёля.

Дом Пащенко был солидным строением на высоком фундаменте, перед ним росли деревья. Я узнала новые слова *фундамент*, *палисадник*, и они мне не понравились, особенно последнее. Вещи уже были расставлены, двери сняты с петель, так что образовалась анфилада из трёх комнат, а всего их было четыре – гостиная, кабинет отца, столовая и комната дочерей, где спала и мама. В столовой шкафами отгородили угол для брата. Нашу комнату тоже перегородили шкафами, и в темноватом уголке, вдали от окна, на стоявшем там сундуке мне отвели место для игр.

Со временем ящики исчезли, книги перекечевали в шкафы, были навешены портьеры, но жизнь не устраивалась. Тесно, неудобно, всюду шкафы и сундуки. Взрослые говорили, что квартира временная и весной опять придётся переезжать. Живя в такой тесноте, немислимо заводить знакомства! Однако родители не теряли бодрости. Маме нравилась полтавская дешевизна: яйцо стоило одну копейку, мясо – пять-шесть копеек за фунт, дешёвой была всякая птица. Отец выделил ей из пенсии на хозяйство шестьдесят рублей в месяц, и этого с избытком хватало на хорошую еду. Мама наняла молодую девушку из деревни, сама готовила и учила её. Кухня находилась в пристройке, вход туда был мне строго запрещён.

Родители были бодры, но от сестры исходил дух раздражения. Она отчаянно скучала от безделья и одиночества, хотя ей предоставлялась возможность читать книги из отцовской библиотеки – у меня и того не было. Рукоделия Геня не любила, рояль пока ещё не привезли. Выходить на улицу девушке без сопровождения неприлично, и Геня могла гулять только с мамой, а той всегда не хватало на это времени.

В Польше отец был отделён от семьи службой и большой квартирой, а здесь он находился рядом, к чему домашние не привыкли. Мы все были у него на виду, многое вызывало замечания, он во всё вмешивался, раздражался. Зато брат Лёля стал мне в Полтаве ближе: он гото-

вил уроки в столовой, был очень усидчивым и трудолюбивым. В промежутках между занятиями Лёля играл со мной, показывал свои чертёжные принадлежности, особенно он дорожил «съёмкой», мягкой чёрной резинкой, которую ученики изготавливали самостоятельно. Подарил мне несколько цветных игрушечных вагончиков и оловянных солдатиков, не гнушался со мной ими играть.

Я быстро привыкла к обстановке, новизны уже не было, кукла быстро надоела. О, скука – страшное, омерзительное состояние, когда всё вдруг становится противным и не знаешь, что с собою делать...

Княжна Тараканова

Свердловск, Орск, 1982–1983 гг.

Французский и музыка закончились в один день – меня отпустили на каникулы до сентября. У Майи Глебовны сессия, потом она куда-то уезжает. Я не очень расстроилась, потому что от этих занятий никакого толку. Майя Глебовна дала мне целую кучу заданий на лето, и Луиза Акимовна тоже отметила много номеров – я заметила, что там есть этюд Черни и «Киарина» Шумана, которую часто играет папа. Учить мне всё это пока что лень, и я хожу мимо пианино и французских учебников как мимо посторонних предметов, не имеющих ко мне отношения.

Я несколько раз встречала на улице Ольгину маму, она здоровается со мной с какой-то особенной нежностью. Руки у неё черноватые, как у бабушки Нюры, когда она работает на огороде. Я догадалась, что Ольгина мама каждый день ездит на кладбище и руки у неё такие от земли – сверху-то она чёрная, только потом идёт тот рыжий слой.

Тараканова всё ещё в деревне. Странно, но я по ней скучаю. Встретила вчера её папу в хлебом – и так ему обрадовалась! Виталий Николаевич, по-моему, не узнал меня, что-то буркнул и прошёл мимо. В авоське у него был хлеб кирпичом, а на шее висел ключ на шнурке, как у маленького мальчика.

Варю увезли в Юрмалу. Только я сижу дома, и гулять меня теперь почти не выпускают, только если под присмотром Димки.

Скорей бы в Орск!

Самое интересное, что было в последние дни, – это когда к нам пришёл следователь и как я шпионила за папой и Танечкой.

Следователь позвонил в дверь поздно вечером, когда все были дома и собирались смотреть программу «Время». Он невысокий, с очень широкими плечами и небольшой лысиной. Имя его я от волнения забыла. Следователь сказал, что хочет поговорить сначала с детьми, а потом со взрослыми. И что с каждым будет разговаривать отдельно.

Мы заходили в кухню, как на экзамен. Следователь пил чай, который ему налила мама – она всех всегда кормит и поит чаем, даже если это совершенно незнакомые рабочие, которые кладут плитку. От еды гость отказался (хотя у нас были фаршированные перцы), но чай пил с удовольствием. И немного хлюпал при этом.

Я была первой. Следователь положил на кухонный стол клеёнчатую папку и спросил, как меня зовут. Я сказала, что меня зовут Ксана Лесовая. Он поинтересовался, как я учусь, а потом стал задавать разные вопросы об Ольге. Не видела ли я, чтобы за ней кто-то ходил из взрослых, не говорила ли она про каких-то своих знакомых... Я рассказала правду: что я зашла к Ольге накануне дня рождения и она обещала прийти ко мне и даже спросила, что я хочу в подарок.

– С прошедшим тебя, – рассеянно сказал следователь.

А потом спросил, не слышала ли я про такую девочку Катю, которая пропала в прошлом году? Она гуляла с подругами, а по пути домой решила срезать уголок через лесопарк... Я сказала, что не слышала, но зато мне брат рассказывал про маньяка, который всё время убивает молодых и красивых девушек в Свердловске.

– Он прямо так и сказал – маньяк? – заинтересовался следователь.

– Все давно уже прямо так и говорят, – сказала я и тут же испугалась, что сболтнула лишнего про Димку. Поэтому спросила, а что случилось с той девочкой Катей, которая *срезала уголок*, но следователь мне почему-то не ответил. Поинтересовался вместо этого, не помню ли я, было в тот вечер на пальце у Ольги колечко «неделька»?

Я немного удивилась, что он знает про «недельку» – это набор из семи простых колечек, они совсем немного различаются цветом, и надо их менять каждый день. Ещё есть чехословацкие трусики «неделька» – моя мечта! У Вари есть такие, каждые обшиты по краю тоненькой кружевной тесёмкой разных цветов. Про трусики я следователю, конечно, рассказывать не стала, но вспомнила, что действительно заметила у Ольги розовую «недельку»: когда она подняла руку, прощаясь со мной, на свету блеснуло колечко. Странно, ведь Ольга ни серёжек не носила, ни цепочек, ни тем более браслетов, а вот «неделька» у неё была.

Я решила, что следователь забыл ответить на мой вопрос про девочку Катю, и ещё раз вежливо задала его, но он нахмурился и велел позвать Димку. С Димкой они говорили очень долго, и брат потом вышел из кухни совершенно красный и даже слегка дымящийся, как из бани. Потом следователь говорил с мамой, потом – с папой. Потом он уже почти согласился съесть фаршированный перец, но в последнюю минуту всё-таки отказался и ушёл, прижимая к груди свою клеёнчатую папку.

На другой день Димка сказал, что у Ольгиной соседки по лестничной площадке пропал взрослый сын – она бегала по двору, расспрашивала мальчишек и плакала. Неужели этот маньяк нападает теперь и на взрослых людей? На мужчин? Сын соседки, его зовут Валерий, похож на статую физкультурника, с таким ни один маньяк не справится. Если только сзади подкрасться и ударить?

Я всё время об этом думаю, и мысли у меня в голове болят. Мама говорит, отвлекись, займись делом – вытри пыль, сделай французский, начни разучивать «Киарину», – но я ничего не могу делать, мне всё кажется каким-то несерьёзным, кукольным. Скорей бы в Орск! Ну или вернулась бы Тараканова. Вот уж не думала, что буду по ней так тосковать...

Вчера вечером меня, правда, отвлекла одна история, но лучше бы она меня не отвлекала... Мамы не было дома, Димка гулял, а мы с папой сидели каждый в своей комнате, я читала, он что-то писал у себя за столом. Потом зазвонил телефон, папа взял трубку, и я сразу догадалась, что он говорит с Танечкой. Ласково и виновато папа сказал:

– Да, конечно. Да. Я буду ждать тебя через полчаса на остановке у «Буревестника».

Папа не знал, что я всё слышала, он просто сказал, что у нас закончился хлеб и он ходит в магазин. И запретил мне выходить из дому. А сам взял какой-то пакет из шкафа, надел чистую рубашку и ушёл встречаться с Танечкой.

Я даже минуты не раздумывала, закрыла дверь ключом и тоже пошла к «Буревестнику» дворами, мимо гаражей. Я умею быть совсем незаметной, и даже знакомые часто не узнают меня на улицах. Шла немного сгорбившись, специально засунув руки в карманы летних штанов – обычно я так не хожу. Прямо на ходу приподняла волосы заколками, и теперь меня точно никто не узнает: все привыкли видеть меня с двумя косами, которые я потом связываю в одну. Заколки мне подарила Ира, они белые и блестящие, и, если их долго носить, болит голова.

Папа стоял на остановке и выглядывал трамвай с таким нетерпением, что мне стало его почему-то ужасно жалко. Со стороны папа выглядел совсем чужим, но был при этом моим родным папой, и я с трудом удержалась от того, чтобы к нему подойти. Спряталась за остановкой, и тут как раз пришёл 26-й трамвай. Значит, Танечка живёт совсем недалеко от нас.

Из первого вагона выпрыгнула девочка – очень хорошенькая и высокая, постарше меня. С виду – ровесница Димки. Она бросилась к папе, и он так крепко обнял её, что у меня внутри сильно вспыхнуло, как бывает, если что-то испугало, но страх докатывается не сразу, а накрывает через минуту. Папа обнимал Танечку и при этом озирался по сторонам, как будто боялся, что их кто-то увидит. Они сели на остановке под козырёк, и я, к сожалению, не могла услышать, о чём они разговаривают, но, кажется, Танечка о чём-то просила папу, и он в конце концов достал кошелёк и вынул оттуда три рубля. И отдал их Танечке. Она сразу стала улыбаться и напомнила мне Димку, у неё были такие же точно ямочки на щеках. Потом папа поцеловал

её в одну из этих щёк с ямочками, и они перешли на другую остановку, где трамвай идёт в обратную сторону.

А я пошла домой. И прямо на ходу заплетала себе косы.

Через месяц

Начинаю новую тетрадь своего дневника. Она очень красивая и такая чистая, что хочется записывать сюда только хорошее. Или хотя бы умное, интересное для моих будущих детей... Может, спустя сто лет моя внучка или правнучка тоже случайно найдёт эти тетрадки и будет читать их втайне от всех, а потом начнёт вести свой дневник, подражая бабушке, и так будет продолжаться вечно, каждые сто лет!

Думаю, что моим потомкам будет интересно узнать, что маньяка поймали.

Первым об этом услышал Димка от Серёжи Сиверцева. Тот сказал, что это тот самый Валерий, который жил с Ольгой на одной лестничной клетке. Он попал под подозрение, потому что в это же самое время, когда Ольга пропала, отсутствовал на работе. Его мать, конечно, считает, что это неправда, но ведь так рассуждала бы любая мать! Когда Валерия арестовали, её не было дома, и она заявила о его пропаже – думала, что на сына тоже напал маньяк, а он сам и оказался маньяк!

Мне не слишком жалко эту тётю Дусю, потому что преступник должен быть наказан, и, даже если Валерия расстреляют, это будет справедливо. Правда, я вспомнила, как однажды весной Валерий делал нам с Димкой кораблики из бумаги, но, может, он таким способом хотел втереться к нам в доверие? Кораблики были, кстати, довольно красивые. Даже не кораблики, а пароходики с трубами. Валерий работает – то есть работал – чертёжником, и чёрные следы на Ольгиной кофточке стали подтверждением его вины. Теперь у Валерия возьмут разные анализы и будут его допрашивать. Очень надеюсь, что его расстреляют. Следствие не может ошибиться – только не в Советском Союзе!

Ольгина мать подошла ко мне на улице и спросила: не хочу ли я взять что-то на память о её дочери? Я сказала, что не знаю, и она велела ждать её на улице, а потом принесла оставшиеся колечки «недельки», их было шесть. Я взяла их и положила в открыточную шкатулку вместе с красным кольцом Таракановой.

Таракановой всё ещё нет. Через неделю мы с Димкой уезжаем в Орск вместе с мамой. А папа будет, наверное, гулять в это время с Танечкой...

Я очень хочу рассказать обо всём этом кому-нибудь, но не решаюсь довериться никому, кроме дневника. И Ксенички – я обо всём рассказываю ей перед сном, в мыслях, и она в такие минуты как будто бы сидит со мной рядом. Я даже чувствую на своей щеке её дыхание...

Октябрь 1982 г.

Из Орска мы вернулись, как всегда, в начале августа и ездили потом ещё в Шиловский дом отдыха. По вечерам там были танцы, и папа танцевал с мамой вальс, это выглядело немного странно, к тому же сабо у мамы всё время спадывали с ног.

Валерий после долгих допросов во всём признался: даже в том, что убил ту девочку Катю – задушил пионерским галстуком. Расстреляли Валерия в конце сентября. Так рассказал Серёжа Сиверцев. Тётя Дуся переехала, обменяла квартиру на другой город, где никто не знает про её позор. А Тараканова появилась только в самом конце лета, очень загорелая, в каких-то широких красных брюках. У неё теперь новые подруги – Злата Овечкина из девятого (!) класса и Марина Купцова из двенадцатого дома. Они ходят повсюду втроём.

Ну и к нам она тоже, конечно, приходит – и чуть ли не сразу идёт в комнату Димки. Со мной едва здоровается, как будто я здесь какая-то соседка!

Я один раз не выдержала и сказала Ире:

– Это мой брат, а не твой...

Не подобрала, что сказать: «хахаль», «друг», «парень», – просто хмыкнула вместо этого слова. А Ира посмотрела мимо меня и закрыла прямо перед моим носом дверь в Димкину комнату.

Димка стал уже очень взрослый, у него на руках и на ногах растут большие волосы и над губами усики, а губы как будто немножко всегда улыбаются. И мне сложно поверить, что это тот самый Димка, с которым мы читали одну книгу, лёжа на животах... Мне кажется, что тот, прежний, Димка куда-то уехал – в Орск, например – и живёт там всё так же, не меняясь, а этот чужой парень занял его место.

Месяц назад мама сказала, что Димке нужно больше пространства, поэтому мне придётся переехать вместе с моим столом и диваном в гостиную. Я сначала возмутилась, а потом подумала, что будет неплохо жить поближе к телевизору. И сейчас я действительно здесь живу, а в нашей бывшей детской сделали ремонт: наклеили новые обои и покрасили полы.

– Это тебе, Дмитрий, до двадцати пяти лет! – сказал папа.

Димка хотел сделать изнутри замок, но родители не разрешили.

На прошлой неделе у нас был с классом культпоход в Картинную галерею на улице Вайнера. Там много картин, есть и скульптуры. Меня больше всего поразила «Княжна Тараканова» художника Флавицкого – все наши мальчики, конечно, хохотали над этим совпадением, но Ира, как говорится, и бровью не повела.

– Это моя прабабушка, – заявила она.

Марина Валентиновна, наша классная руководительница, позвала экскурсовода, и та сказала, что фамилия у княжны была другая. Не Тараканова.

– Как это? – не поняла Ира. Она иногда не понимает самых простых вещей.

Экскурсовод (немного старенькая, с седыми волосами) стала рассказывать историю красивой княжны с портрета. На самом деле её звали Елизавета Владимирская, и она была самозванка. Она хотела стать царицей, и Екатерина II этого, конечно, не стерпела, посадила Елизавету в Петропавловскую крепость, а тут как раз случилось наводнение. Нева вышла из берегов, как Екатерина II вышла из терпения, и бедная княжна утонула в своей камере. Воды на картине очень много, и я, когда смотрела на неё, вдруг почувствовала такой особенный запах, какой бывает в затопленных подвалах весной. Я даже вдруг ощутила себя на месте этой бедной девушки, представила, как тяжелеет с каждой минутой платье и дышать всё труднее. Как ни задирай голову, вода всё выше и выше, вот уже дохлые мыши плавают рядом, и никто не спасёт, не придёт на помощь...

Все уже давно ушли к другим картинам, а я всё смотрела и смотрела на несчастную княжну Тараканову...

– Ты очень впечатлительная девочка, – покачала головой экскурсовод.

И я зачем-то рассказала ей, что у меня тоже дворянское происхождение: по папиной линии я принадлежу к Лёвшиным, о которых писал Пушкин. Но экскурсовод вдруг начала оглядываться по сторонам, а потом схватила меня за руку – очень больно! – и зашептала:

– Никогда не рассказывай посторонним о таких вещах! Это очень опасно и для тебя, и для других!

Я еле высвободила свою руку и бегом догнала наших. Ночью мне снилось, что я тону. Проснувшись утром со слезами на лице, они ещё даже не высохли, и щёки были совсем мокрые. Как будто я по правде тонула.

А Тараканову теперь все в нашем классе зовут не Ирой и не по фамилии, а коротко – Княжна. И она с удовольствием отзывается, хотя никаких дворянских корней у неё нет. Мне это кажется несправедливым.

Май 1983 г.

Ужас, как давно я сюда не заглядывала! Последняя запись – в декабре, про новогоднюю дискотеку. Перечитала её, расстроилась и вырвала из дневника. Ну да, у меня нет красивых и модных вещей, но это не повод так убиваться! Та же Люся Иманова намного уродливее, а носит короткие юбки и школьную форму обрезала чуть не до трусов. Её даже к директору за это вызывали. Но теперь с ней ходит Саша Потеряев. Ходит – это значит дружит, так что ей вызовы к директору без разницы.

Без разницы – любимое выражение Княжны, она повторяет эти два слова каждый день по многу раз, но ведёт себя при этом вовсе не безразлично. Наверное, это единственный человек в моей жизни, у которого слова никак не связаны с поступками. Ира приходит к нам изо дня в день – папа зовёт её *дежурная по подъезду*, потому что стоит кому-то из нас вернуться домой, как тут же появляется Тараканова. От угощений Княжна всегда отказывается, но приносит с собой семечки. Димка стал забирать к себе в комнату прочитанные папой газеты – мы думали, это для политинформаций, а оказалось, для Иры, чтобы шелуха не летела на пол.

В школе Ира иногда вспоминает о том, что дружит со мной, а не с Димкой, но как только занятия заканчиваются, она исчезает. Переодевается, навешивает на себя все свои украшения разом и идёт к нам. Сейчас Ира носит не золото, а пластмассовые клипсы и браслеты, очень модные, чехословацкие, я о таких мечтаю. У неё есть два гарнитура – бледно-розовый и жёлтый. Соседка из семьдесят третьей квартиры назвала Княжну *развязанной*; наверное, она хотела сказать «развязная». Я была у Иры дома всего только раз за последнее время, мы ели батон с майонезом, а потом она показала мне секретную шкатулку своего отца с надписью «Личное». Шкатулка закрыта на всякий замочек, а ключ Княжна найти не может, хотя обрыла весь дом.

Интересно, что может хранить в такой шкатулке взрослый человек? Какие-то письма? Фотографии?

Димка, по-моему, начал курить, от него вечерами пахнет так, как будто он съел много семечек – эти запахи очень похожи. Французские уроки прекратились, Майя Глебовна родила сына, и ей не до меня. Я, честно говоря, рада. Мне теперь хочется учить итальянский, но я не представляю себе, где в Свердловске найти такого учителя... В общем, у меня в последнее время довольно плохое настроение, радует только то, что мама достала три путёвки в речной круиз – от Уфы до Астрахани. В середине июля мы поплывём на теплоходе втроём, с мамой и Димкой. Скорей бы!

Ксеничкины дневники я всё это время не читала, мне они стали казаться слишком детскими, прямо как те голубые гольфы, но сейчас снова захотелось к ним вернуться. Это от одиночества. Я ужасно одинока, и меня никто по-настоящему не любит. Страшно подумать, что так будет всегда.

Погода стоит очень хорошая.

Как только я достала из мешка Ксеничкину тетрадку, явился брат с прогулки; я думала, он сразу пойдёт к себе, и еле успела спрятать дневник под подушку.

– Ты спишь? – спросил он шёпотом.

Родители уже погасили свет в своей спальне.

– Нет. – Брат редко со мной разговаривает, и я так удивилась, что у меня сердце заколотилось со всей силы, даже видно было, как дрожит ночнушка на груди (эту ночную рубашку, кстати, я сама сшила на трудах в шестом классе). Он сел ко мне на кровать, от него жарко пахло сигаретами – или семечками.

– Сиверцев сказал, нашли ещё одну девушку. Задуманную. В лесопарке.

– Но ведь Валерия уже расстреляли!

– Значит, это был не Валерий, – сказал брат. И добавил заботливо: – Ты поосторожнее, Ксана. Не гуляй в парках. И... подругам скажи.

Я сразу поняла, что Димка говорит про Княжну. Но ведь он и сам может ей это сказать? Лесопарк от нас ближе, чем парк Маяковского. Димка неловко погладил меня по голове и пошёл спать. А я никак не могла заснуть. Крутилась с боку на бок так, что рубашка задралась почти до шеи, а постель нагрелась, и в ней просто невозможно находиться. Не знаю, усну ли сегодня, но надо попробовать.

Полтавская битва

Хабаровск, апрель 1952 г.

Из воспоминаний Ксении Михайловны Лёвшиной

Опять, как при переезде в новую квартиру, меня заперли в дальней комнате, откуда были слышны топот сапог, обрывки разговоров и начальственные окрики Михаила Яковлевича. Когда же разрешили выйти в гостиную, там стоял большой хвостатый рояль. Все члены семьи толпились около него – и все сияли. Но Юлия Александровна никому не позволила играть, потому что роялю надо было «отдохнуть» с дороги.

Приобретение рояля завершило долгую подготовку к завоеванию Полтавы, города, привыкшего к победным сражениям. Теперь Лёвшиным следовало усиленно обзаводиться знакомыми: предстояло сделать множество визитов и обеспечить старшей дочери выезды в местный свет. Выдать замуж – и с плеч долой!

Рояль заметно разнообразил нашу жизнь. Геничка просиживала за ним часы напролёт, повторяя разученные с мадам Тур сонаты Бетховена и пьесы Шопена. По вечерам за рояль садилась мама, и её серебристую игру сразу же можно было отличить от более правильной, но сухой манеры Гени.

Моё музыкальное образование ограничивалось редким исполнением под аккомпанемент рояля песенок из единственного в то время детского сборника «Гусельки». Песенка «Ах, попалась, птичка, стой!» была моим лучшим номером. По вечерам я с наслаждением слушала в постели игру мамы и Гени, пока не одолевал сон.

Вскоре началась подготовка к сезону, встал вопрос о платьях. Раскрылись длинные зелёные сундуки, на диванах, стульях и столах лежали старые, но ещё приличные платья и новые, купленные ранее в Варшаве материалы. Меня восхитила диковинка, невиданная дотоле: ярко-голубой сарафан из шёлка, весь расшитый белыми бусами под жемчуг, и такой же, усыпанный бусами, кокошник. Простодушные детские восторги по поводу русского костюма так рассердили Геню, что она схватила сарафан и со злостью бросила его на дно опустевшего сундука. Лишь через много лет мне стало понятно, почему один вид этого нарядного костюма вызвал у сестры такую ярость. В Царстве Польском Михаил Яковлевич требовал, чтобы старшая дочь посещала церковь по большим праздникам непременно в костюме русской боярышни. Такая демонстрация, пусть она и не выходила за пределы домового храма реального училища, всё же вызвала толки среди местного русского и польского общества, и Геня это хорошо чувствовала. Кроме того, сарафан не шёл к ней, а только подчеркивал нестатность её фигуры. Требование отца было для Евгении настолько тягостным, что она пыталась протестовать, – вот с этого-то сарафана и пошли у неё столкновения и нелады с ним...

Внимание привлекла ещё одна вещь, достойная, по моему мнению, лишь Золушки на балу у принца: это была короткая пелерина из белого, затканного крупными цветами шёлка на розовом атласном подкладе, да ещё и опушённая по вороту и краям чем-то белым и очень нежным.

– Лебяжий пух! – с благоговением сказала мама.

Рядом с пелериной лежали длинные белые перчатки и веер из слоновой кости, отороченный белыми страусовыми перьями. Но я не могла оторвать глаз от дивной пелерины:

– Что это?

– Сорти-де-баль, – разъяснила мама, – его надевают на плечи, когда бал кончается, чтобы не простудиться при разборе шуб.

– Столетней давности старьё! – с дрожью в голосе крикнула сестра, и сорти-де-баль полетел в сундук вслед за сарафаном.

Тут как раз пришёл отец, и начался оживлённый спор по поводу двух кусков материала нежных и красивых тонов розового и голубого цвета. Будущие бальные платья Гени! Отец на чём-то настаивал, у мамы был недовольный вид – она тоже спорила, что-то доказывая. Геня сидела надутая и злая. Лишь только отец ушёл, обе возбуждённо заговорили по-немецки. На другой день розовые и голубые волны материала со стола исчезли...

Помню тот далёкий год, когда отец решил учить меня чтению. Грамота давалась легко, отец был доволен, хвалил, мама улыбалась. Уроки с отцом мне очень нравились, и он занимался со мной с увлечением. Занятия шли ежедневно – и в будни, и по воскресеньям. К середине января я прочла «Букварь», сравнительно бегло читала рассказы из «Родного слова» и умела писать строчные буквы, освоила устный счёт.

И вдруг занятия оборвались! Я прекрасно помню, как сидела за столиком в ожидании отца, а он вошёл в комнату вместе с мамой, о чём-то оживлённо беседуя. Разговор затягивался, перешёл в спор, отец волновался, а я ждала, когда кончат, скучала... Наконец спор прекратился, отец подошёл к столику, сел, потом тут же вскочил и повернулся к маме, всё ещё стоявшей в раздумье:

– Зачем мне её учить? Она уже хорошо читает. А письмом, Юленька, можешь ты с ней заниматься. Ну, арифметику я, пожалуй, продолжу.

Он быстро вышел. Мне хотелось плакать. Мама ничего не сказала, вышла следом с нахмуренным лицом.

С тех пор каждое утро мама задавала мне списать страницу букв, а потом – страницу слов и фраз из книжки с прописями. Первое время она или, по её поручению, Геня следили за тем, как я пишу. Пока я писала знакомые мне строчные буквы, дело шло, но когда дошла до заглавных, которых с отцом не проходила, началось мучение. Мне самой было тошно от кривых и разлапистых «Б» и «В». Мама и сестра подходили всё реже, а подходя, ужасались, ругали, подправляли мои каракули и задавали дальше. Точно так же каждое утро я приходила к отцу за заданием по арифметике; он лежал одетый на кровати с книгой и курил, проверял задание и писал новые примеры, иногда что-то объясняя. Весь урок занимал десять-пятнадцать минут. От отца странно пахло, но я не понимала, что это запах вина: тогда он и начал пить.

В то время я ещё не боялась отца; моя беда началась, когда дело дошло до таблицы умножения. С такой охотой учивший меня прежде, папа теперь из-за каждой ошибки выходил из себя, кричал, ругал так, что я пугалась и уходила в слезах. Мама, чтобы избежать этих «историй», начала меня предварительно спрашивать, проверять, готова ли я к «уроку», и отпускала к отцу лишь после тщательной проверки. И всё же я шла к нему с сильно бьющимся сердцем. С нетерпением ждала, когда кончатся ненавистные столбики цифр, но за таблицей умножения последовала таблица деления, которая была ещё хуже. Даже мама начала терять терпение... Затем отец заболел, в течение нескольких дней я к нему не ходила, и занятия арифметикой прекратились сами собой. Но страх перед отцом остался...

В середине сезона произошло событие, которое вывело из себя Геню, возбудило всю семью и бесконечно обсуждалось на русском и немецком языках. Прибыли бальные платья из Варшавы. Вот куда делись те внезапно исчезнувшие волны голубой и розовой материй!

Отец настоял на том, чтобы платья шила та знаменитая портниха, которой заказывали выездные платья мамы. Геня и мама были против, но, как всегда, подчинились, и материи с надлежащими мерками отправили в Варшаву. Ждать пришлось несколько месяцев, и прибытие посылки встретили радостными восклицаниями. Картонки вскрыли, из них вынули что-то

голубое, необыкновенно воздушное, и розовое, несколько менее воздушное, но очень пышное. Два чуда варшавского вкуса!

Однако за два-три месяца после отправки заказа Геня успела располнеть, и оба платья оказались ей тесны. Голубое, представлявшее собой ворох рюшей и узких оборок, было настолько изрезано, что переделать его не имелось возможности, а розовое переделали, но шик при этом потерялся.

Запоздалое завоевание Полтавы начиналось не очень удачно, отца и Геничку с первых же дней постигли разочарования. Не страдавшая тщеславием Юлия Александровна переносила неудачи спокойно, тем более что ей выпала лучшая доля. Её такт, прекрасный французский язык, простота и достоинство в обращении с лёгкостью завоёвывали людей – именно Юлии Александровне принадлежала заслуга в том, что у Лёвшинных появился довольно обширный круг знакомых.

Михаилу Яковлевичу пришлось труднее. Ставка на знатность рода была сразу же бита. Полтавское общество, группировавшееся вокруг губернатора, состояло из богатых помещиков, имевших в городе свои дома. Они большей частью принадлежали к родовитой украинской знати – Старицкие, Сулима – или же к русскому дворянству по той же Шестой книге – Ахшарумовы, Милорадовичи и так далее. Богатая и чванная полтавская аристократия не пожелала впустить в свою среду отставного действительного статского советника, приехавшего откуда-то с окраины, не обладавшего ни домом, ни именем, ни деньгами, да к тому же не игравшего в карты. И даже эрудиция не проложила Михаилу Яковлевичу пути. Он мог блистать в Ловиче, крохотном городке, где был на голову выше окружающих и занимал видное положение, тогда как полтавскому обществу, погрязшему в картах и сплетнях, нужен был блеск иного рода – деньги, связи...

Бюрократическая Полтава, обленившаяся на сытных хлебах, встретила Лёвшина приветливо, как всякого нового партнёра в карты, но радушная улыбка хозяев гасла, когда Михаил Яковлевич широким жестом отклонял приглашение составить партию в преферанс или винт, говоря, что в карты принципиально не играет. Даже для блага семьи он не нарушил этот принцип, хотя супруга, сразу верно оценившая положение, советовала ему не гнушаться этим могущественным средством приобретения веса в обществе.

В конечном счёте в штурме полтавского общества Лёвшин потерпел поражение – боролся не тем оружием. Но поначалу неудачи его не обескураживали, и борьба продолжалась несколько лет. В окружение губернатора проникнуть не удалось, зато он встретил поддержку у предводителя дворянства Ахиллеса Ивановича Забаринского. Здесь Шестая книга не подвела.

«Галантерея-Трикотаж»

Свердловск, февраль – май 1984 г.

Если папа узнает, что я уже несколько лет без разрешения читаю чужие личные дневники, то совершенно точно заберёт мой любимый крапивный мешок и перепрячет так, что я его уже никогда не найду. Когда я об этом думаю, у меня даже горло перехватывает от страха, как бывает, если вдруг представишь, что мама умрёт... Я не смогу обходиться без Ксеничкиных историй, без её голоса, который звучит у меня в ушах, а я ведь даже не знаю, какой у неё был голос... Высокий, как у меня, или низкий, как у Княжны?

Наверное, всё же высокий.

С Княжной вышла такая история: однажды я вошла в Димкину комнату не постучав и застыла на пороге. Димка сидел на диване, а Ира полулежала рядом, обнимая его руками за шею. Она меня не видела и не услышала – у них во всю мощь играла музыка. А вот Димка увидел – он весь стал красный, но ничего не сказал, даже не попытался отцепить от себя Тараканову, а просто закрыл глаза, как будто этого достаточно для того, чтобы я исчезла.

И я действительно исчезла, тихо прикрыв за собой дверь.

Димка после того случая перестал смотреть мне в глаза. Он и раньше-то меня не удоставлял особым вниманием, а теперь ведёт себя так, будто мы с ним еле знакомы. Даже мой сосед по парте Ринат Файрушин ведёт себя дружелюбнее, хотя иногда на него находит и он вдруг ни с того ни с сего ломает карандаш в руке. Причём это всегда именно мой карандаш, не его! Ринат не злой, но вспыльчивый.

Тараканова в школе – сама любезность. Занимает мне место в столовой, ждёт у зеркала, чтобы вместе идти домой. Димка, видимо, не рассказал Ире, что я всё видела, а может, это для неё неважно? Они сидят в комнате закрывшись, слушают музыку, и мама начинает беспокоиться.

– Дима совсем перестал учиться, – сказала она вчера вечером папе, шуршащему газетой. Мы втроём сидели в гостиной, точнее, это мы с папой сидели, а мама гладила бельё, и уют в её руках иногда очень кстати ворчал и пофыркивал. – Вторую четверть закончил с шестью тройками. Уроки не делает, только гостей принимает.

Выразительный взгляд в мою сторону. Я сделала вид, что меня это не касается, прилежно склонилась над сочинением. Я уже второй месяц пишу сочинения для девочек из параллельного класса, а они взамен – по очереди – делают для меня черчение, с которым у меня совсем плохо. Одна из этих девочек, Лена Ногина, собирается поступать в архитектурный и чертит так красиво, что меня чуть на районную олимпиаду не послали после одной её работы! Я попросила Лену чертить похуже, но она сказала, что органически к этому не способна. В общем, я её понимаю, мне тоже трудно писать плохие сочинения, поэтому я ограничиваюсь тем, что делаю там орфографические ошибки, так что девочки получают 5/3 и полную гарантию того, что ни на какую олимпиаду их не отправят.

Писать сочинения для меня – самое настоящее удовольствие, и поэтому я даже для Таракановой это делаю, уже без всяких «взамен». Она в смысле учёбы совсем ничего предложить не может. Только на физкультуре Княжна действительно хороша: в минуту взбирается по канату к потолку, а через козла прыгает так, что в спортзале вдруг становится тихо, как на математике...

Ну и вот, мама жаловалась на Димку, а сама при этом смотрела на меня.

– Что-то вы с братом совсем мало общаетесь, – сказала она вдруг.

Папа шелестнул газетой и показался из-за неё, как будто из-за занавеса в театре.

– Как же так, Ксана, – пожурил меня папа. – Ведь вы же брат и сестра, это очень важно!

Я никогда не ощущала Димку близким мне человеком. А у папы нет ни брата, ни сестры, он был единственным сыном своей мамы, может, поэтому ему и кажется, что иметь сестру или брата так уж важно. Лучше бы он рассказал мне о своём детстве, о маме и об отце – его он никогда не упоминает. Слишком уж много тайн у нашего папы... Хорошо хоть про Танечку я давно не слышала. Она нам больше не звонит, я начала её понемногу забывать, и только сейчас, когда папа стал меня журить из-за газеты, мне пришёл в голову дерзкий ответ: «Ну конечно, это очень важно – быть братом и сестрой! Примерно так же, как сестрой и сестрой, правда, папа?»

Естественно, вслух я ничего такого не сказала, промолчала. А маму моё молчание раздражает ещё сильнее, чем когда я начинаю огрызаться.

– Брат целые дни с твоей подругой проводит! – повысила голос мама. – Тебя это совсем не задевает? Удивляюсь, Ксана!

– А что я могу сделать? – наконец-то разозлилась я. – Она теперь его подруга, не моя. Я с ней вообще не дружу. Я ей нужна, только чтобы дверь открывать. А с Димкой мы никогда не дружили...

– Как-то рано они, – с беспокойством сказала мама. – Ире четырнадцать лет. Серёжа, ну что ты опять в газету уткнулся или тебе всё равно? У тебя, насколько я знаю, только один сын!

На этот раз папа появился над газетой, лицо у него было совершенно красное. Я даже не догадывалась, что взрослые умеют так ярко краснеть!

– А что ты предлагаешь? – спросил он. – Выгнать эту девочку?

– Ну, можно ведь просто поговорить...

– Лучше ты. И не с ней, а с родителями.

– Димка вам этого никогда не простит! – сказала я.

У меня такое часто бывает: я вроде бы и не чувствую к брату особенной любви, но знаю, что должна его защищать. Может, это и есть то, что соединяет сестру и брата и что папа называет «важным»?

Если хорошенько вспомнить, мне от Димки всю жизнь были одни только неприятности. Когда мы были маленькими, он меня довольно часто стучал и даже пинался, если родители не видели. А я на него ябедничала – было дело. У нас с ним никогда не было такой дружбы, как, например, у Лиды с Женей, но ведь Лида с Женей живут в разных городах, видятся только на каникулах, и делить им нечего. А нам очень даже есть чего! Мама, например, совершенно точно больше любит брата, чем меня, – во всех ссорах с самого раннего детства она всегда принимала его сторону. Раньше я из-за этого не так обижалась, потому что считала, что папа сильнее любит меня, чем Димку, – в этом была справедливость. Но это было до того, как появилась Танечка. Теперь я вообще не понимаю: кому я нужна в этой жизни и зачем было меня рожать?

Я подумала об этом и вдруг заплакала – я в последнее время стала очень легко и часто плакать. Мама перепугалась, уронила утюг.

– Даже Ксана переживает за брата! – сказала она папе укоризненно. – Надо что-то делать, Серёжа... Давай позвоним её родителям. Что же, у неё совершенно никаких обязанностей по дому нет? Почему она сидит у нас дотемна семь дней в неделю?

Папа аккуратно сложил газету и потёр кулаком переносицу.

– Как же мне это всё надоело, – тихо сказал он, глядя куда-то в потолок. Мама в тот самый момент отключала утюг, чтобы не спалить синтетические плавки, поэтому ничего не услышала.

А я услышала – и по-настоящему испугалась.

Март 1984 г.

Сцена, достойная карикатуры в журнале «Крокодил»: мы с мамой идём к Таракановым «для разговора». У мамы в руке газетный кулёк с бледной мимозой, похожей на полынь. Я иду как на казнь: сколько слёз, угроз и лишних слов было потрачено, всё впустую! Спорить с

мамой бесполезно. «Ты должна мне помочь», – твердила она и всё гремела в шкатулке своими каменными бусами, спутавшимися в клубок, пока не высвободила наконец малахитовую нитку.

Так вот, мы шли к Таракановым с мимозой и серьёзным разговором, который, судя по маминым сжатым губам, уже полностью сложился в её мыслях. Был предпраздничный день, и абсолютно все мужчины, которых мы встречали по дороге, несли цветы в обёрточной бумаге. У меня было плохое настроение не только из-за Таракановых. Мальчишки поздравляли нас в тот день после пятого урока, и мне вручил подарок (какой-то нелепый блокнот с мартышкой!) Илья Кабанов по кличке Свин. Я, конечно, понимаю, что мальчики тоже тянут из шапки бумажки с нашими фамилиями и мне просто в очередной раз не повезло, но ведь мог же кто-то предложить Свину поменяться?.. Тот, кому хотелось бы вручить мне пусть даже и блокнот с мартышкой? Желающих, как видно, не нашлось. Ну что ж, Свин так Свин. От него пахнет, он ковыряет в носу и после еды вытирает руки о штаны, как маленький. Говорят, у него экстраординарные способности к математике, но кого это волнует?

Варю поздравлял Саша Потеряев, Люсю Иманову – Беляев, Княжну – Ринат Файрушин. Все самые нормальные мальчики вытянули бумажки с фамилиями самых популярных девочек... Как такое могло получиться? И почему я попала в «чёрный список» вместе с Тоней Жуковой и Леной Абрамовой, похожей на слона?

В подъезде Таракановых, как и в прошлый раз, сильно пахло помойкой. Дверь открыла Ирина мама. Я плохо помнила её лицо и теперь как бы знакомилась заново. На школьные собрания приходит обычно Виталий Николаевич или Света, старшая сестра Княжны. Мама Иры сказала, чтобы я звала её тётей Валей. Она невысокая, волосы крашенные, жёлтые, тёмные у пробора. В ушах золотые серьги с красными камешками.

Таракановы занимают в квартире две комнаты, а в третьей живёт соседка, баба Фрося. Когда мы пришли, она приоткрыла дверь своей комнаты и внимательно наблюдала за нами. Стояла там в чёрной комбинации, тесно облегающей сушёное тело, и рассматривала нас с мамой, как это делают маленькие дети: серьёзно, с любопытством и опаской. От бабы Фроси шёл тяжёлый, душный запах, как от таблетки стрептоцида, растёртой в медной ложке.

– Не обращайтесь внимания! – махнула рукой тётя Валя и повела нас почему-то в спальню. Светы и Виталия Николаевича дома не было. В спальне оказалось не прибрано, смятая постель застелена бельём розового цвета, а на простыне темнело небольшое кровавое пятнышко. Я сразу заметила это пятнышко, тётя Валя поспешно прикрыла его одеялом.

Мы не знали, куда сесть – на кроватях, как считалось у нас дома, сидеть не принято, но в спальне не было ни стула, ни кресла. В другой комнате, где обитали Ира и Света, был ещё больший беспорядок. Тётя Валя прикрыла туда дверь, но я успела заметить грязную посуду на столе и какие-то тряпки на полу.

– Садитесь здесь, – тётя Валя похлопала рукой по кровати, и мы с мамой осторожно сели на одеяло, как две принцессы на горошину. Кулёк с мимозой остался лежать нераспакованным на подоконнике, и мама то и дело посматривала на него. Она всегда очень беспокоится о своих и чужих цветах, неважно, срезанные они, в горшках или растут на клумбе. Тётя Валя села рядом с нами и сказала извиняющимся голосом:

– Я чуть-чуть это самое... Праздник же.

От неё действительно пахло вином и ещё чем-то неприятно знакомым.

– Конечно, – сказала мама. – С наступающим, Валентина Николаевна! А вы знаете, где сейчас Ира?

– Моя Ирка? – удивилась тётя Валя. – Так это, гуляет, наверно. Ирка у нас самостоятельная...

– Валентина Николаевна, Ира вот уже несколько месяцев проводит все дни у нас дома. Сидит с Ксаниным братом в комнате. И я не думаю, что они готовят там вместе уроки... Я решила с вами поговорить, потому что у Димы от этой... дружбы... начинает страдать учёба.

– А сколько лет вашему? – спросила вдруг тётя Валя.

– Летом исполнится семнадцать.

– Да. Что-то рано она зачесалась! – сказала тётя Валя. – Так что, сказать, пусть не ходит к вам больше?

– Ну почему сразу «не ходит»? – заволновалась мама. – Вы просто обратите внимание на эту ситуацию, меня она очень беспокоит. Ира ведь младше Димы, они с Ксаной в одном классе учатся и дружат.

Я дёрнулась.

– Поговорите с ней! – продолжала мама. – Пусть она хотя бы через день к нам приходит. И не сидит допоздна.

Тётя Валя вдруг всхлипнула, качнулась вперёд.

– Обманула жизнь! – провыла она. – Обманула, подлая!

Мама испугалась, неловко приобняла тётю Валю, а та вдруг упала ей на грудь даже с каким-то стуком.

– Живём как эти самые! – причитала она. – Ютимся! А он не может квартиру выбить в своей типографии!

Мама смотрела на меня поверх тёти-Валиной головы широко открытыми глазами – я никогда не видела, чтобы у неё было такое растерянное лицо. Наконец тётя Валя оторвалась от мамы, и слава богу, потому что выглядело всё это очень неловко.

– Твой-то где работает? – спросила она маму точно так же невпопад, как это обычно делает Княжна.

– В музее Горного института, – сказала мама. – Валентина Николаевна, мы, наверное, пойдём. Собирайся, Ксана!

Всю обратную дорогу мама мрачно молчала. А я так и не поняла, зачем ей нужно было тащить меня за собой к Таракановым.

Может, она просто боялась идти туда одна?

Апрель 1984 г.

У нас дома много книг и камней. Те, кто приходит к нам впервые, сразу начинают спрашивать: ах, у вас кто-нибудь геолог? На самом деле не геолог, а минералог. Папа работает старшим научным сотрудником в геологическом музее при Горном институте. Он кандидат наук, а когда защитит докторскую, то станет профессором.

Камни папа находил в экспедициях, точнее, не камни, а образцы различных пород, а ещё окаменелости и ракушки-аммониты, похожие на улиток или на бараньи рога. И если честно, наша домашняя коллекция мне нравится больше музейной: каждый образец здесь как родной, а в музее уж слишком много всего разложено и выставлено – устаёшь смотреть, трудно сосредоточиться.

Самый интересный в музее четвёртый этаж, там выставлены кости мамонта, шерстистого носорога и две древние человеческие головы с немного обезьяньими лицами (не настоящие, конечно, а муляжи, но вот кости совершенно настоящие). Когда я была маленькая, то придумывала про этих людей сказки с участием мамонта и шерстистого носорога. Я ведь, можно сказать, выросла в музее, как, кстати, и Димка. Папа здесь уже очень долго работает, на нём колоссальная ответственность, хотя кабинет у него тут крошечный, мы даже с ним вдвоём там едва умещаемся. Вместе с папой работает ещё один научный сотрудник, только младший, Александра Петровна. У неё белые волосы и длинные ногти, которыми, наверное, очень удобно открывать стеклянные крышки ящиков с экспонатами.

Сегодня после музыки я решила заехать к папе в музей, вышла на площади 1905 года и пошла пешком по улице Хохрякова. День был тёплый, кое-где уже виднелись прогалины сухого асфальта. Я видела куст сирени без единого листочка – множество веток, торчащих из снега,

напоминали метлу для великана. Не верится, что из этих веток потом начнут расти листья в форме сердечек и гроздьи цветов, запаха которых я не переношу.

Я шла уже довольно долго, когда слева появилось наконец здание Горного института и «дырявый камень», поставленный у входа. На самом деле это лимонитовая жеода бурого железяка с пустотой, найденная в Бакальском месторождении в 1905 году. Вес около десяти тонн! Внутри этой жеоды можно залезть, как в пещеру. Когда мы с Димкой были маленькие, постоянно так делали.

Как папа поразится, увидав меня на пороге! У него как раз заканчивается рабочий день, так что мы сможем пройти пешком до Московской, а может, и до самого дома. Я люблю гулять с папой, он не делает мне без конца замечания, как мама, а рассказывает интересные истории про свои экспедиции и про то, каким раньше был наш город.

Папа учился в девятой спецшколе, она у нас в городе самая старая и самая лучшая. Нам с Димкой сюда было не попасть, потому что мы стопроцентные гуманитарии, а в «девятку» берут только детей с техническим складом ума. У папы в школьные годы были специальные занятия по краеведению, которые проводил старый преподаватель с удивительным именем Модест Онисимович Клер. Дети называли его просто «дедушка Мо». Вот этот самый дедушка и привил моему папе любовь к камням, к геологии и минералогии, и теперь папа безуспешно пытается привить её нам с Димкой.

Папины рассказы о минералах всегда слишком сложные; мне больше нравится, когда он вспоминает что-нибудь другое. Например, как члены геологического кружка приходили в гости к дедушке Мо. Он жил недалеко от музея и показывал детям зуб доисторической акулы, который сам же и нашёл где-то в окрестностях города. Да, я тоже была поражена, когда узнала, что на месте Свердловска когда-то бушевало древнее море! Отсюда и взялись на Урале раковины аммонита – головоногого моллюска, отсюда и тот акулий зуб, который отыскал дедушка Мо! Вот это меня действительно волнует, а экспонаты я люблю рассматривать, не глядя на таблички, и тогда замечаю, как родонит похож на окорок, ортоклаз – на кирпич, а селенит – на свечной огарок. Конечно, кое-что я успела запомнить, например, что древнейшая горная порода на Урале называется *израндит* и ей два миллиарда лет или что боксит (шаровая отдельность, будущий алюминий!), похожий на пушечное ядро, был обнаружен в месторождении Красная Шапочка. Эти факты случайно остались у меня в памяти, а что там осталось, то уже никуда не денется – память у меня исключительная.

Вот о чём я думала, поднимаясь по широкой лестнице на четвёртый этаж, к мамонтам и папиному кабинетику. Меня в музее все знают: и гардеробщица, и кассир, я просто сказала, что иду к папе, и меня с улыбкой пропустили, а двое посетителей (иностранцы, сразу видно) с интересом меня разглядывали, и это оказалось очень приятно. Настроение у меня было хорошее, и я навестила своих любимцев на третьем этаже, прежде чем пойти к папе. Это «зеркало скольжения на медном колчедане», похожее на золото, и «микроскладка» каменной соли – яркий полосатый камень, очень весёлый и праздничный.

Экспонаты в музее хранятся под стеклом, в старинных деревянных витринах, но самые крупные стоят сами по себе, и если это какой-нибудь кварц, то в солнечный день, такой как сегодня, он весь переливается на свету! Хочется прикоснуться к большому блестящему гладкому камню или лизнуть каменную соль, но прикасаться к экспонатам нельзя! Если кто-то об этом забудет, ему напомним Марианна Аркадьевна, смотрительница. Она всегда носит на плечах ажурную шаль, похожую на скатерть. В ушах у неё – тяжёлые серьги из малахита.

– Руками не трогать! – говорит Марианна Аркадьевна свистящим шёпотом, и нарушитель, только что цапнувший экспонат, вспыхивает от стыда.

Со мной Марианна Аркадьевна говорит ласково, но тоже шёпотом – честно говоря, я никогда и не слышала её нормального голоса...

– Ксаночка, дорогая! Ты к папочке? Он у Александры Петровны, посиди тут на стульчике, я его позову!

– Да не надо, Марианна Аркадьевна, я сама!

Марианна Аркадьевна поправила на плечах ажурную шаль, как будто взмахнула крыльями:

– Ну как знаешь.

Она села на стульчик, где сбоку очень по-домашнему лежали книжка, вязанье и очки на цепочке. Читать или вязать Марианна Аркадьевна не стала, а вместо этого внимательно следила за тем, как я продвигаюсь по залу. Будто я не дочь ведущего научного сотрудника музея, а совершенно посторонний ребёнок, впервые увидевший чёрные кости мамонта и жёлтые – как из дерева! – зубы доисторической акулы. Я даже обернулась от её взгляда. Марианна Аркадьевна следила за мной, как будто это был театр и я играла на сцене – очень странное, непривычное ощущение! Взгляд смотрительницы подталкивал меня в спину, как сильный ветер.

У лестницы я повернула вправо и очутилась прямо перед кабинетом Александры Петровны. Он располагается точно под папиным, но обставлен иначе. Я ещё раньше думала, что у Александры Петровны, как у нашей мамы, есть дар делать уютным любое помещение, даже купе в поезде. У неё были здесь разные салфетки, картинки и фотографии на стенах, а на стуле лежала мягкая подушечка. Одна фотография в рамке показалась мне знакомой, там была изображена девочка, немного похожая на артистку Яну Поплавскую. Но я не успела понять, кто эта девочка, потому что увидела папу. Он стоял ко мне лицом и крепко целовал Александру Петровну. Папа увидел меня, и я побежала прочь, обратно в зал, где довольная Марианна Аркадьевна поправляла на носу свои очки на цепочке.

Я металась, как ненормальная, по залу, а потом услышала за спиной папин голос, его быстрые шаги и, слетев вниз по лестнице, обронив где-то папку с нотами, припустила через дорогу. Влетела в здание Горного института, забежала на второй этаж и оказалась в длинном коридоре, на стенах которого с обеих сторон висели фотографии умных печальных людей. Студентов уже не было, преподаватели ушли домой. Я была совсем одна. Села прямо на пол, пытаюсь отдышаться, смотрела на эти портреты, и они тоже как будто бы смотрели на меня.

Один из этих портретов изображал женщину с усталым, расстроенным лицом. Под ним была подпись: *Ксения Михайловна Лёвшина, первая заведующая кафедрой иностранных языков.*

И годы жизни: рождение совпадало с Ксеничкиным, год смерти – 1965-й.

Май 1984 г.

В одном из бабушкиных дневников рассказывалось о подземных ходах, которые были прорыты в Полтаве в незапамятные времена. Когда я убегала в тот день из музея, то ни о чём не могла думать, кроме как о том, чтобы провалиться в какой-нибудь подземный ход – и никогда больше не видеть ни отца, ни Александру Петровну, ни Димку с Княжной...

Наверное, надо рассказать маме о том, что я видела в музее. Но что, если она разведётся с папой и он уйдёт жить к Александре Петровне? Я вспоминала её руки на папиной рубашке (мамой, между прочим, выглаженной!) и прямо вся передёргивалась от отвращения, как бывает, если случайно увидишь на улице мёртвого голубя...

В институте, где я пряталась от папы и случайно увидела портрет бабушкиной тёзки, до меня дошло, что в кабинете у Александры Петровны висела фотография Танечки. Я чувствовала себя так, будто решала очень трудную задачу по геометрии. Кстати, завтра у нас годовая контрольная, к которой я совершенно не готова. Придётся списывать, не знаю у кого.

Дано: папа целует Александру Петровну прямо у себя на работе. На стене у Александры Петровны висит фотография Танечки, которая считает моего папу своим. Доказать: Танечка – дочь моего папы и Александры Петровны?!

Как только я задала себе этот вопрос, у меня всё внутри похолодело. Получается, что папа уже столько лет обманывает нас с мамой! Или же мама обо всём знает и это только от нас с Димкой скрывают?

Но зачем им с Александрой Петровной так целоваться, если они столько лет знакомы? С нашей мамой папа никогда не целуется – я ни разу не видела. Может, Танечка – приёмная дочь папы? Но почему тогда она так похожа на Димку (даже больше, чем на Яну Поплавскую)? У меня даже мозги заболели от всех этих мыслей, и надо было уходить из института: мама будет волноваться. И... папа. Я не представляла себе, что он мне скажет и что я ему скажу. Я просто не хотела его больше видеть никогда в жизни. Ну или хотя бы несколько дней.

На этаже, где я пряталась, вдруг выключили свет. Я побежала вниз, чтобы меня не закрыли в институте, и по дороге думала, что Ксеничка каким-то удивительным способом передала мне свою поддержку: ведь понятно же, что портрет усталой женщины, который висит в Горном, не имел к ней отношения, но он всё равно напомнил о моей любимой бабушке-подружке.

Почему не имел отношения? Здесь всё просто, обойдёмся без «дано» и «доказать». Во-первых, Ксеничка погибла в блокадном Ленинграде, а Ксения Михайловна с портрета прожила аж до 1965 года. Во-вторых, фамилия у Ксенички должна быть как у моего папы – Лесовая, а портрет подписан девичьей: Лёвшина. Конечно, Лёвшина – не самая распространённая в мире фамилия, но в жизни встречаются разные удивительные совпадения.

Я шла пешком, потому что начался час пик и в трамвай я бы просто не влезла. Всё-таки удивительно, что я читаю дневники Ксении Михайловны Лёвшиной – и вдруг вижу в институте портрет женщины с таким же точно именем. И она была преподавательницей иностранных языков! Я резко затормозила, до меня только сейчас это дошло – про иностранные языки...

Мысли мешались, путались, всё скаталось в какой-то клубок, как бывает, если я берусь вышивать крестиком. Мама вечно ругается, потому что аккуратные рулетики дефицитных мулине превращаются в лохматые колтуны «на выброс»... Может, вся эта история с Александрой Петровной как-нибудь сама собой решится и забудется?

Я так устала об этом думать, вообще, я так устала в тот день, что ноги сами несли меня домой, пока я не увидела, что магазин «Галантерея-Трикотаж» ещё открыт. Это мой любимый магазин, хотя на прилавках там нет ничего интересного (за интересным надо ехать на баракхолку). Зато здесь работает самая красивая в мире продавщица.

Она сама, конечно, знает, что красива: на неё всё время кто-нибудь заходит поглазеть. Она даже лучше артисток польского кино из набора открыток! Высокая, светловолосая, с тонким носом и синими глазами. Непонятно, что она делает в этой «Галантерее-Трикотаже». По просьбам скучных тётенок красавица отрезает какое-то количество тесьмы или складывает пуговицы в кулёк из бумаги.

На табличке, которая висит на стене, указано: «Вас обслуживает продавец 3-й категории Бланкеннагель Е. Д.». Я думала, что её зовут Елена (Прекрасная!), пока не услышала, как со склада ей кто-то крикнул однажды: «Кать, прими товар!» Значит, Екатерина. Она, как заколдованная принцесса из сказки, томится за прилавком и продаёт разные скучные вещи. Только один раз здесь давали дефицит – японские зонты. Очередь тянулась чуть не до автобусной остановки, и нам с мамой не хватило.

В тот вечер я разглядывала Бланкеннагель ещё внимательнее, чем обычно, мечтала: вот бы мне тоже стать такой, когда вырасту. Бывает же, когда девочки полностью меняются – сбрасывают свою детскую внешность, как лягушачью кожу, и расцветают! Во многих книгах такое описано, вот пусть и со мной произойдёт. Если я стану изумительной красавицей, то папа будет гордиться мною больше, чем Танечкой. Походить на Яну Поплавскую тоже неплохо, но я предпочла бы стать точной копией Екатерины Бланкеннагель.

– Тебе что-то нужно? – ласково обратилась ко мне красавица.

Я растерялась, потому что ни сутаж, ни пуговицы покупать не собиралась. Лицо её стало сердитым, нахмуренным – я думала, это потому, что я молчу, как дурочка, но нет, Бланкеннагель рассердилась на посетителя, который только что вошёл в магазин. Он был тоже, наверное, красив, во всяком случае высок и молод. И пьян, ужасно пьян!

– Ну что, немчура? – сказал он продавщице. – Долго ещё ломаться будешь?

– Уходи отсюда, – сквозь зубы сказала Бланкеннагель. – Тут покупатели.

Она кивнула в мою сторону, но пьяный, бегло глянув на меня, рассмеялся:

– Покупатели! Не смеши давай! Сегодня чтоб пришла, ясно тебе?

Бланкеннагель вдруг вспыхнула, как будто ей стало жарко, и мелко кивнула, со страхом глядя, как пьяный идёт к прилавку. На меня он не смотрел, а больше в магазине никого не было. И вот он уже тянет к ней руку и проводит пальцем по её белому гладкому горлу... А она молчит и терпит, молчит и дышит... Не знаю, что со мной произошло, но я вдруг схватила ножницы, которые стояли в вазочке рядом с кассой, и ударила его прямо в ногу! Сильно. Ножницы упали на пол, пьяный взревел, повернулся ко мне – и стал прямо очень похож на маньяка!

– Анна Олеговна! Анна Олеговна! – кричала страшным голосом Бланкеннагель. Из подсобки выбежала женщина («Вас обслуживает кассир Полякова А. О.»), и, пока они все трое визжали и кричали, я вылетела из «Галантереи-Трикотажа» и в пять минут добежала до нашего подъезда.

Мне навстречу метнулась тёмная тень с нотной папкой в руках.

– Пожалуйста, не говори ничего маме, – попросил отец. – Я сам ей всё потом объясню.

Я молчала. В окне у Димки горел свет. Всё-таки у мамы замечательный вкус – эти оранжевые шторы делают комнату очень уютной.

Отец говорил ещё что-то, но мне его слова были понятны не больше, чем табличка в музее: «Рогово-обманковый габбропегматит с тулитизированным плагиоклазом». Я пыталась понять – и не могла, просто слушала папины слова, не отражая смысл. Как иностранный язык, которого не знаешь. Как музыку, которую не любишь.

– Вы что это тут делаете? – К подъезду шла весёлая, довольная мама с небольшим пакетом в руках.

Она с загадочным видом потрясла пакетом у нас перед лицами, а потом вытащила оттуда мужскую сорочку и галстук.

– Импортные галстуки продаются только так, с нагрузкой, – пояснила она. И забеспокоилась: – Серёжа, нравится расцветка?

Спустя три дня

Сегодня мы шли из школы вместе с Княжной. Она дожидалась меня внизу, у зеркала, лицо у неё было загадочное и даже какое-то торжественное. Всю дорогу она молчала, только иногда вздыхала, отбрасывая за спину свои густые рыжие волосы. Может, она хотела, чтобы я задала ей какой-то вопрос? Скорее всего, это помогло бы, но я из вредности тоже молчала. Почему я должна всегда идти навстречу другим, если они не делают даже шага в мою сторону?

В классе у нас все теперь помешались на «Модерн Токинг». На физкультуре Иманова рассказывала, что в Германии было покушение на Томаса Андерса, и Варя заявила: тех, кто на это решился, надо расстрелять! У неё было такое суровое лицо, что я не выдержала и рассмеялась, и почти все наши меня осудили. Хотя мне Томас тоже очень нравится, и я за него переживаю не меньше Вариного... Я как раз думала о Томасе, о его красивом, идеальном лице, когда заметила на стенде у милиции фотографию другого красивого лица. Я сразу узнала его, но прошла вперёд на автомате и только потом вернулась и протёрла пыльное стекло.

Их разыскивает милиция

11 мая ушла с работы и не вернулась домой Бланкеннагель Е. Д., 25 лет. Была одета в синее платье и косынку с узором «огурцы». Туфли чёрные,

сумка коричневая. При себе имела незначительную сумму денег, флакон духов французской марки «Клима» и книгу Фейхтвангера «Гойя». В ушах – золотые серьги-листки. Особые приметы – блондинка, синие глаза, родинка над верхней губой. Просим всех, кто имеет сведения о пропавшей женщине, позвонить по телефону 23-12-30 или 02.

– Ну, ты скоро? – недовольно окликнула меня Тараканова.

– Нескоро. Иди одна.

– В милицию собралась?

– А тебе-то что?

На глазах у Таракановой я гордо зашла в отделение, где не бывала до того ни разу в жизни. Внутри всё не слишком-то отличалось от обстановки в нашей школе или, например, в районной поликлинике, только люди были в форме и смотрели на меня с удивлением.

– Ты к кому? – спросил дежурный. Я сказала, что хочу поделиться сведениями о пропавшей гражданке Бланкеннагель. Сама сейчас не понимаю, откуда у меня взялась такая смелость! Дежурный велел сесть на стул в углу, а сам позвонил по телефону, и вскоре к нам спустился мужчина в мятых брюках. От него сильно пахло сигаретами. Усы свисали как слишком длинные шнуры.

– Пойдёмте со мной.

Он говорил мне «вы». Это было сразу и приятно, и нет. Мы прошли на второй этаж, и мужчина открыл дверь маленького кабинета, где на столе дымились сигарета в пепельнице. Такие пепельницы (я это знала от Димки) делают заключённые на зоне. А на стене висела сплетённая из больничных капельниц рыбка с длинным хвостом. Я видела такую у Вари, её дедушка подолгу лежал в больнице и там от скуки научился делать таких рыбок, а ещё оленей и человечков в шляпах. Мужчина заметил, как я разглядываю рыбку, и усмехнулся:

– Вы очень наблюдательны, так ведь?

Я промолчала, потому что не знала, как на это ответить. И мне было стыдно, что я вижу, какие у него мятые брюки и неприятные усы.

– Меня зовут Василий Михайлович, я следователь. Слушаю вас внимательно!

Он, кстати, и смотрел на меня очень внимательно – я чувствовала его взгляд на своём лице так, что хотелось прищуриться, как от яркого света. Я стала рассказывать Василию Михайловичу о той истории в галантерейном магазине, когда пьяный мужчина обозвал Бланкеннагель «немчурой». Про ножницы я благополучно умолчала – вдруг мне за это попадёт?

Следователь почти не перебивал, подробно записал в блокноте моё описание пьяницы и только в самом конце спросил, была ли я знакома с Екатериной Дитриховной лично? Я сказала: нет, не была. А откуда я тогда её знаю? Я ответила, что, во-первых, Екатерина Дитриховна была такая красивая, что на неё многие специально приходили посмотреть, а во-вторых, я фамилию запомнила по табличке на стене.

– Да, фамилия у ней редкая, – с удовольствием подтвердил следователь. – Это вам не Иванова и не Кузнецова...

Тут в дверь кабинета постучали, и вошёл ещё один мужчина в рубашке с коротким рукавом.

– А вот как раз майор Иванов! – обрадовался Василий Михайлович. – Какими судьбами, Валентин Петрович?

– По вашему делу, – кратко сказал гость, и я его тут же вспомнила. Это был тот самый следователь, который приходил тогда к нам домой, расспрашивал про Ольгу и отказался есть фаршированные перцы.

– Напомните ваше имя, – сказал Василий Михайлович, хотя я его ещё и не называла.

– Ксения Лесовая.

– Лесовая, Лесовая... – Валентин Петрович так гримасничал, что мне стало его даже немного жалко. Мой папа тоже всегда корчит гримасы, когда не может что-то вспомнить или, например, открыть консервную банку с первой попытки.

– Вы приходили к нам, когда убили Ольгу Тарасову.

– Точно! – Теперь у следователя было лицо как у папы, когда он открыл наконец проклятую банку. – Брат учится в одном классе с младшим Сиверцевым, верно?

– Да.

Он выглядел совершенно счастливым всего секунду.

– А сейчас к нам с какой целью явились?

До этого Василий Михайлович в наш разговор не вмешивался, следил за ним, как пишут в книгах, «с растущим интересом», но тут сказал:

– У девушки информация о пропавшей Бланкеннагель. Говорит, красивая была женщина.

– Почему «была»? – возмутился Валентин Петрович.

– Ну, это я так, – смутился Василий Михайлович. – Вы, Ксения, оставьте нам свои данные: адрес домашний, школа, класс. Телефончик обязательно. Мы ваш сигнал проверим.

– Её найдут? – спросила я сразу у обоих мужчин, но они отвели глаза и ничего не ответили.

Дома я попыталась готовиться к экзаменам, но как только открыла учебник, так тут же и застряла на первой странице. Никак не могла сосредоточиться!

Теперь я ещё от каждого телефонного звонка вздрагиваю, мне кажется, что это звонит следователь Василий Михайлович, а там – мамина подруга тётя Эля, у которой всегда разговоров на два часа. Папа играет на пианино дуэт Альфреда и Виолетты из оперы «Травиата». А я совсем забросила музыку. Луиза Акимовна говорит, что ей стыдно будет выпускать меня на сцену в общем концерте.

Очень хочется кому-то довериться. Выговорить вслух всё, что накопилось внутри и лежит там, такое тяжёлое и чёрное, как свежий дымящийся асфальт. В детстве я любила подойти к этому асфальту ближе и вдыхать его жаркий запах полной грудью, но мама всегда отгоняла меня, говорила: это вредно. Кому рассказать? Маме – нельзя, с папой я стараюсь не общаться, Димка теперь идёт в одном комплекте с Княжной, Варя дружит с Имановой и разнесёт сплетни по всей школе. Луиза Акимовна сердится на меня из-за посторонней болтовни на уроках.

Я дожила почти что до четырнадцати лет – и рядом нет никого, с кем я могу поделиться или посоветоваться!

Как вдруг меня осенило: Танечка!

«Истории»

Полтава, декабрь 1895 г.

Воистину, у моего дневника есть незримый покровитель: стоило мне завершить воспоминания о прошлом нашей семьи и уткнуться, будто в тупиковую стену, в сегодняшний день, как подоспели свежие, пусть и очень невесёлые события. Описывать их труднее, чем сцены из прошлых лет; многое нелегко выговорить. Но я решила сделать это, и теперь произойдёт то, о чём я давно мечтаю. Мой дневник станет именно дневником, а не летописью. Я предполагаю ловить каждый день, как бабочку, и оставлять на этих страницах свидетельства о разных событиях, важных и незначительных в равной степени.

Я почти не рассказывала о том, что отец мой болен, прежде всего потому, что не могла себе самой в этом признаться. Мне всё казалось, что это пройдёт, что однажды я проснусь поутру и услышу его весёлый голос, но нет, такого больше не случится, да и я сама не могу более отстраняться от наших семейных проблем. Мама и Геня называют их просто – «истории».

Папа тяжело переживал, что нам так и не удалось пробиться в высший круг полтавского общества. Денег у нас немного, жениха Геничке не получается приискать... Ни фруктового сада, ни домика, о котором он так мечтал в Польше, – ничего не сбылось, не случилось. Папа стал хандрить, больше не ездит с мамой в гости, вдруг постарел. Дома дышит почти нормально, а выходя на улицу, начинает дышать так шумно, что прохожие оглядываются; мама считает, что у него астма, но пояснять, что это такое, не спешит. Ночами у него бессонница.

Меня «истории» прежде не касались, они бушевали где-то далеко, в кабинете. Раньше гнев отца возбуждался от протеста Евгении или от четвёрки, полученной братом; теперь же он вспыхивает от всякого пустяка, и я – с недавних пор – полноправная участница событий. Подоплёки, причины многих «историй» я не всегда знаю – застаю уже их разгар: внезапное появление взрослых в гостиной, расстроенное лицо мамы, взбешённое – Гени, наступающие движения отца, стремление матери уйти от перепалки и увести Евгению, склонённая над чертежом голова брата, его застывшее бледное лицо. А у мамы в такие моменты лицо каменное. Обязанности свои она выполняет деловито и невозмутимо, но её спокойный голос тоже звучит как вызов. И через некоторое время разражается скандал. Иногда, начавшись очень бурно, он сам по себе утихает, но гораздо чаще после «истории» следует длительный период отцовского гнева-молчания. В таких случаях он выходит из кабинета только для приёма пищи, ни на кого не глядит, ни с кем не разговаривает, не подпускает к руке детей и даже меня отталкивает; раньше я этого пугалась, потому что не понимала, в чём провинилась, теперь же привыкла. А в доме наступает душная тишина.

«Историй» в нашем доме все боятся, потому что никто не знает, когда очередная закончится, во что выльется. Изредка её удаётся предупредить – звучит взволнованный голос сестры, мамы или брата: «Не надо говорить об этом папе, будет “история”».

Предвидеть, что раздражит отца, а что покажется ничтожным, я долго не умела. На Пасху мы как-то были с ним вместе: папа сидел на скамье у крылечка, а я сбегала с крыльца на тротуар и обратно. Был очень сухой, тёплый день, мне позволили выйти в одном платье, и я чувствовала себя легко, свободно. По нашей обычно тихой улице шли с Подола принаряженные, весёлые люди. «Светлый праздник», – сказал кто-то из них, и мне пришла в голову глупая мысль, которую я к чему-то озвучила:

– Папа! Вот сегодня как хорошо и светло, и все говорят: «Светлый праздник». А если бы было пасмурно или дождь? Тогда был бы тёмный праздник?

Отец рассвирепел, начал меня бранить и сердиться, что я, его дочь, говорю глупости. Даже не просто глупости, а что-то ужасное, позорящее и меня, и его, и всю семью. Он дошёл до крика, потом быстро вошёл в дом, накричал на маму и скрылся в кабинете. А мама выбежала на крыльцо, увела меня домой и тоже отругала за то, что суюсь к отцу с глупостями и сейчас выйдет «история».

После одной «истории» мама и Генчикка стояли с нахмуренными лицами в гостиной, а отец говорил с большим жаром, несколько раз упомянув слово «честность». Заметив меня, подозвал и сказал проникновенно:

– Помни, Ксеничка, что надо быть честной. Тебя к этому обязывает твоё происхождение. Ты не простая девочка, а столбовая дворянка по Шестой книге.

Я же вспомнила не о своих замечательных предках, но о словах, давно сказанных мне мамой по случаю: «Что ты дворянка – это правда. Но это случайность. Ты родилась в дворянской семье, а могла бы родиться у крестьянки или нищенки и была бы тогда крестьянкой или нищенкой. Предки твои давно умерли, и думать о них не стоит. И никакая ты не особенная. Пред лицом Бога все люди и все маленькие девочки равны».

Как это сложно – увязать два родительских мнения в одно, когда они противоположны...

«Истории» случаются всё чаще и чаще. Успокоение приносит нам разве что прибытие гостей. За завтраком и обедом все сидим в гнетущей атмосфере, как вдруг – звонок. Отец оживляется, мама становится любезной, и даже после, когда гости уходят, сохраняется лёгкость, шутиливый тон. Недавно в самый разгар «истории» под вечер приехали две дамы, М. и Н. Отец вышел к ним, мама несколько задержалась. Я сделала реверанс и остановилась у кресла отца.

Н. – она была моложе, говорливая, весёлая – обратила на меня внимание, приласкала, похвалила мои косы:

– Боже! Как она на вас походит! Копия! – И обратилась к отцу: – Это ваша любимица? Ведь правда?

Отец улыбнулся и кивнул в знак согласия.

– А ты? – Н. схватила меня за руки, притянула к себе и воззрилась прямо в глаза. – Говори правду! Кого больше любишь, папу или маму?

Я растерялась. Никто раньше таких вопросов мне не задавал и спасительного ответа «одинаково» не подсказывал. Тут я и увидела лицо отца. Он глядел на меня и ждал ответа. Лицо его было таким напряжённым, как будто от этого ответа зависело что-то очень важное для него, жизненно важное! Этот взгляд заставил меня прошептать:

– Папу.

Н. засмеялась, захлопала в ладоши:

– Так и знала, так и знала!

Папино лицо просветлело, как будто огромная тяжесть спала. Он обнял меня, и в этот миг я увидела маму – она давно вошла в гостиную и всё слышала. Я уловила в её лице что-то никогда раньше не виданное: оно исказилось, стало злым. И тогда я поняла, что сказала неправду. Я просто струсила, мама была мне дороже.

Гости ушли, ушёл и отец. Мама стояла у окна и безучастно смотрела на улицу.

Я подошла к ней:

– Мама, не сердись, я ведь тебя тоже очень, очень люблю.

Она поглядела на меня всё тем же холодным взглядом:

– Ничего! Ничего! Так и надо. Ты правильно поступила. Ложись спать.

Но я долго не могла уснуть и горько плакала в постели. Мне было жаль маму и жаль себя. Я не понимала, как могла сказать неправду, и подумала: а что, если я маму действительно не люблю? Ведь если бы я по-настоящему любила, разве бы я от этого отказалась?

Тогда я с ужасом впервые почувствовала то, в чём готова признаться: я никого не люблю – ни папу, ни маму. От любви становится радостно, светло, хочется обнять, приласкаться. Но у меня нет и не было ни малейшего желания обнимать или ласкаться к отцу или матери.

Не сомневаюсь, что родители меня любят. Виною всему лишь моя чёрствость.

Сестра

Свердловск, май 1984 г.

Папина записная книжка хранится у него в комнате, рядом с телефоном. Чёрная, с полустёртым словом «Алфавит» на обложке. Он никогда не прятал от меня эту книжку, но, конечно, ему не понравилось бы, что я её взяла.

Вчера, когда папы не было дома, я открыла книжку на вырезанной ступенькой букве «С» и нашла запись – «Соргина Александра Петровна, тел. дом. 28-44-39». Ниже был ещё один, зачёркнутый номер – «Д1-06-88». Буквами обозначались старые свердловские номера. Значит, папа был давно знаком с Александрой Петровной, может, ещё до того, как она пришла работать в музей. Может, он её и устроил в музей – по блату? Эта мысль, шевельнувшаяся внутри, была такой гадкой, что меня передёрнуло, как при виде вытащенной наружу диванной начинки, похожей на испачканные облака. (Иногда мне приходят на ум такие странные сравнения, что я должна записать их в дневнике. Или хотя бы вставить в сочинение, чужое или своё. Чтобы не пропали!)

Я очень скучаю по отцу – и по тому времени, когда я ничего не знала про Танечку. Идея найти её стала казаться глупой, особенно сейчас, во время экзаменов за восьмой класс! Завтра, например, мы сдаём русский устно, а я вместо того, чтобы повторять правила или хотя бы писать шпаргалки, пытаюсь найти совсем незнакомую девочку... Адреса в книжке, к сожалению, не было, но когда я пролистала её внимательно ещё раз, то обнаружила заложенный между страницами бумажный клочок, где было записано карандашом: ул. Волгоградская, 190-26. И никаких пояснений! Может, здесь и живёт Танечка со своей мамой, видеть которую мне нисколько не хотелось?

День стоял прохладный. Я вытащила из шкафа клетчатую фланелевую рубашку, на которой не хватает одной пуговицы, надела, закатав рукава. Светлые брюки, которые мама зовёт неприятным словом «чесучовые» (от него так и тянет почесаться), теннисные тапочки, слегка пожелтевшие с прошлого года. Носить мне совершенно нечего, но это никого не волнует. Волосы я забрала в хвост и спрятала под довольно дурацкую велосипедную кепку с прозрачным козырьком. Теперь главное – не встретить никого из нормальных людей по дороге, хотя, скорее всего, они бы меня в таком виде просто не узнали!

Между гаражами на Белореченской я случайно наступила на канализационный люк – крышка лежала неплотно, грохотнула, и мне пришлось отскочить в сторону. Там, на дорожке, убегавшей в кусты, лежало серебряное кольцо с лиловым камнем. Оправа в завитках.

Есть такая примета, что нельзя примерять чужие кольца, мне об этом рассказывала Варя. Будто бы с чужим кольцом на палец переходят чужие грехи. Интересно, а почему они не переходят, когда мы примеряем одежду друг друга? Варя с Имановой даже лифчиками менялись, когда Имановой понадобилась телесная «анжелика»!

В общем, я подняла кольцо и положила его в карман. Сейчас оно лежит, спрятанное в верхнем ящике стола, где у меня место ссылки для всех сомнительных предметов. Кольцо, думаю, дорогое – местами почерневшее, а камень выпуклый и слегка треснутый. Похож на аметист или александрит.

До Танечкиного дома я дошла за пятнадцать минут. На трамвае было бы ещё быстрее, но мне хотелось пройти эту дорогу. Почему-то это было важно.

Дом как две капли воды походил на мой, такая же длинная серая пятиэтажка. Все эти юго-западные дома похожи друг на друга и ещё – на грубые картонные коробки из-под «Уралобуви». Второй подъезд, третий этаж, белые шторы, открытая форточка затянута сеткой от

комаров. Под окнами набирающая цвет сирень и клумба, разбитая внутри старого автомобильного колеса: из неё пёрли вверх жёсткие зелёные конусы.

Входная дверь в квартиру Соргиных была обита мягким материалом и украшена декоративными гвоздиками, звонок пел мелодию «К Элизе». В самый последний момент, когда Танечка уже открывала замки (не спросив, кто там, и даже не поглядев в глазок!), я стащила с головы кепку и сунула её в карман.

Первое, что я замечаю в чужих домах, – это запахи. У нас дома пахнет книжной пылью. У Вари – растворимым кофе и пастой Теймурова, которой её мама мажет подмышки. У Таракановых – бабой Фросей. А здесь, в квартире Танечки и Александры Петровны, пахло моим папой: его рубашками, нотами, любимым чёрным чаем... Я чуть не снесла с дороги Танечку, так захотелось мне войти в эту запасную, дополнительную папину жизнь! Она удивлённо моргала, мы стояли в коридоре, пока я не догадалась сказать:

– Знаешь, кто я? Твоя сестра!

Танечка молча посторонилась. Она, видимо, только что пришла из школы и ещё не успела переодеться. Школьное платье было у неё не коричневое, а бордовое, цвета варёной свёклы. На груди комсомольский значок, фартук отглажен, оборки топорщатся, как новенькие. Ноги при этом голые – ни колготок, ни гольфов. Может, я её как раз отвлекла от переодевания?

Танечка молчала, и я тоже не знала, с чего начинать разговор. Вспомнила мамин совет: если не знаешь, что сказать, говори что-нибудь нейтральное.

– Ты в десятом учишься?

– В девятом.

– Везёт!

– Почему это?

– Ну, тебе не надо в этом году экзамены сдавать.

Я говорила это и думала: значит, Танечкин год рождения лежит между нашими с братом. Сначала родился Димка, потом Танечка, после – я.

– А отец знает, что ты здесь? – спросила Танечка.

– Нет, конечно, и ты ему не говори ни в коем случае!

– Почему это? – снова спросила сестра. Её любимое выражение подходило, скорее, Таракановой.

Я не знала, как ей всё объяснить, и мы какое-то время молча сидели на софе, угрюмо разглядывая друг друга. А я ещё и косилась по сторонам.

Комната, куда Танечка меня привела, очень напоминала нашу гостиную – такие же полки, сколоченные папой, тот же телевизор и даже пианино «Этюд». На крышке пианино, с левой стороны – стопка нот. Точно как у нас дома.

– Ты играешь? – спросила я.

– И я, и отец, – ответила она и сразу же стала ужасно неприятной. Какое право она имела называть моего папу отцом? Почему она вообще существует, зачем сидит здесь, дышит, смотрит в окно? Если бы не было этой Танечки, моя жизнь была бы счастливой, как раньше. А теперь я так запуталась, что ниткам мулине не снилось... Я совсем позабыла, что пришла сюда не выяснять отношения с Танечкой, а потому, что мне нужно было кому-то довериться, рассказать про Бланкеннагель, про Димку и Княжну, про все эти сложности, которые вдруг на меня свалились. Теперь мне казалось, что я должна всё высказать этой самозванной сестре, должна отомстить ей за мою маму (пусть даже мама ничего не знает – когда-нибудь всё равно догадается!).

Мне до сих пор стыдно того, что случилось после.

Я хотела ударить Танечку по лицу, но вместо этого просто заревела, как маленькая девочка. И тогда Танечка вдруг притянула меня к себе, стала гладить по голове и повторять «ш-ш-ш», как говорят совсем маленьким детям. А я из-за этого ещё сильнее расплакалась,

потому что даже сквозь слёзы понимала, какие мы с ней разные и насколько она меня лучше, добрее, взрослее. И, к несчастью, красивее.

Всё-таки чем-то мы были похожи, это сходство проявлялось не в чертах лица, а в каких-то движениях, жестах, поворотах головы. Я смотрела на Танечку, как она ходит по комнате, как поправляет бретельку фартука, как протягивает мне носовой платок, а потом достаёт из буфета чайные чашки с рисунком, и видела словно бы своё собственное мелькание в зеркале.

– Сейчас чай будем пить, – объявила Танечка. – Но сперва я всё-таки переоденусь.

Она скрылась в соседней комнате, а я тихонько подошла к письменному столу, над которым висели полки, и стала рассматривать книжные корешки. Всё те же справочники по геологии и минералогии, которые стояли у нас дома и казались мне невозможно скучными. В историях, которые папа рассказывал мне во время наших прогулок или перед сном, минералы и руды были живыми: они рождались глубоко в земле, пили воду, распускались самоцветными букетами, приносили богатства одним людям и горе другим. Бедные мастеровые находили золотые слитки, но алчные хозяева заводов отбирали их, а мастеровых избивали плетью до полусмерти.

Интересно, рассказывал ли папа Танечке про «гнилой камень» рапакиви? Путала ли она в детстве, как я, слова «слюда» и «слюна», смеялся ли отец над этой ошибкой? Разглядывала ли с отцом мою любимую карту полезных ископаемых Урала, где длинная горная змея испещрена геометрическими фигурами: золото – круг из двух половин, чёрной и белой, а торф – три кирпича, походящих на олимпийский пьедестал? Есть ли у неё деревянная шкатулка с приклеенной этикеткой «Коллекция шлиховых минералов»? Эту шкатулку папа подарил мне к десятилетию. Она раскрывается на две половины: в одной лежат прелестные маленькие пробирки, заткнутые пробочками, в другой – пронумерованные выемки, на дне которых написаны чёрной тушью названия: андалузит, берилл, биотит, барит, вольфрамит, гранат, золото (моя гордость!) и так далее по алфавиту до сфена, турмалина и флюорита. В каждой пробирке хранятся образцы, напоминающие то песок, то каменную мелочь, то простую пыль. Не хотелось бы видеть у Танечки такую же точно шкатулку, но... всё-таки она имела на неё право. Тем более у неё не только папа в музее работает, но и мама.

Танечка вышла из комнаты в коротких спортивных брюках и носках-джурабах, и я тут же вспомнила, как мечтала о таких ярких носках с орнаментом и как мама всего за одну ночь связала их для меня! Мне так жаль стало маму, что слёзы снова выступили на глазах, и Танечка нахмурилась:

– Ты всё время такая плаксивая? Знаешь, ведь это мне надо плакать, что отец живёт с вами, а не со мной! Мама говорит, они раньше познакомились, чем с Верой Петровной, и, если бы Вера Петровна не забеременела...

Тут Танечка тоже чуть было не заплакала, но в последний момент всё-таки сдержалась, только носом шмыгнула. У неё гораздо более сильный, чем у меня, характер, а впрочем, она ведь старше на целый год. И, оказывается, знает имя и отчество моей мамы! А вот мама даже не подозревает о существовании Танечки и думает, что Александра Петровна – просто какая-то коллега по музею. Всё теперь было ещё хуже, чем раньше. Непонятно, почему я думала, что мне станет легче после знакомства с Танечкой, – наверно, я просто очень хотела с ней познакомиться и пыталась найти для этого причины.

– Кстати, ты слышала про маньяка? – спросила вдруг Танечка. – Отец так боялся за меня, что чуть ли не каждый вечер проверял, когда я домой вернулась. Всё-таки хорошо, что его поймали!

– Никого они не поймали! Ты ничего об этом не знаешь!

– А ты, конечно, знаешь!

– Да. Вот увидишь, скоро найдут ещё одну жертву! И у неё будет немецкая фамилия!

На этих словах я вылетела из квартиры опешившей Танечки и сбежала вниз по ступенькам. Потом, успокоившись, пошла быстрым шагом. Запоминала бетонные плиты во дворе, вздыбившиеся, как айсберги. Запоминала голубей на крыше гаража – неподвижные, будто их посадили на клей. Одни, с бензиновым ожерельем вокруг шеи, были сизыми, как свежий асфальт, другие – конопатыми, в ржавых перьях. Всё это – чужое и ненавистное, но в то же время родное и знакомое – нужно было запомнить для того, чтобы никогда сюда больше не возвращаться, достаточно будет вызвать в памяти сегодняшнюю картинку: книги, Танечка в джурабах, голуби...

И, пожалуй, хватит на сегодня. У меня рука болит, мозоль на пальце, и в тетради осталось всего три страницы. Но сама я при этом совсем не устала, мне даже стало легче.

Прямо посреди ночи нам домой позвонил следователь Василий Михайлович. Завтра днём, сразу после экзамена, я должна буду опознавать подозреваемого. Василий Михайлович сказал, что они задержали соответствующего моим описаниям человека.

Старые слёзы

Полтава, февраль 1896 г.

Надежд на хорошую партию для Генички теперь уже вовсе не было, тогда как Оля Абаза стала невестой, выходила по любви за молоденького пехотного офицера. Выбор Оли удивил Полтаву: такая богатая невеста не смогла найти ничего лучше? После свадьбы молодые должны были поехать в Кобеляки, захолустнейший город губернии, новое место службы Олиного жениха.

Семья Абаза – это высший полтавский свет, потому мы так дорожим этим знакомством, но, честно признать, Елена Фёдоровна нравилась бы мне и без этих условностей. Она из обрусевшей немецкой семьи Дейтрих, и брат её Владимир Фёдорович занимает высокий пост в Петербурге. Елена Фёдоровна выделяется простотой и непринуждённостью в обращении. Лет ей около сорока, и, по отзывам моих родителей, она ещё очень хороша собой. Я так не считаю: дамы зрелого возраста кажутся мне все одинаково некрасивыми.

Абаза – дворянский род молдаванского происхождения. Многие члены этой семьи были крупными сановниками, сенаторами, а один из прямых родственников мужа Елены Фёдоровны был откупщиком и нажил на этом деле миллионное состояние! Говорят, он построил дворец на окраине Петербурга, превосходное большое здание, напоминающее творения Растрелли. Подобный выстроен также в Абазовке, имении вблизи от Полтавы.

Ко времени нашего знакомства старшей дочери Елены Фёдоровны, Оле, исполнилось шестнадцать лет, и она только что вышла из полтавского института. Брат её Саша учился в кадетском корпусе и уже снискал себе славу лентяя, а младшей Тане было двенадцать лет. Таня пошла в мать, она очень красива и сознаёт это. При жизни мужа – он был полтавским головой, любителем давать званые обеды и жить на широкую ногу – Елена Фёдоровна блистала на балах и устраивала в своём дворце роскошные приёмы.

Про богатство Абаза в городе ходит много слухов. Говорили, что муж оставил Елене Фёдоровне огромное количество фамильного серебра, предназначенного в приданое дочерям, – будто бы оно помещается в специально оборудованном хранилище, а для приёмов им не пользуются, серебра для гостей у них с лихвой. Там даже были серебряные самовары, вызолоченные внутри, и серебряная, также вызолоченная внутри самоварная труба, сделанная по особому заказу. В самовары Полтава верила, а вот труба служила предметом споров: одни сомневались в её существовании, другие упорно его отстаивали.

Позднее, впрочем, выяснилось, что за Олей ничего не дали – положение их было безнадёжное. Хорошо хоть тряпки справили! Между прочим, разговоры о серебряной трубе Абаза оказались не выдумкой, а чистой правдой. В Полтаве жил один почтенный ювелир, потом он уехал, а на его место явился новый. И вот приходит к нему человек и приносит самоварную серебряную трубу, вызолоченную внутри, предлагает купить. Ювелир был наслышан о серебряных кладовых Абаза, но не верил рассказам – как вдруг эта самая труба лежит у него на прилавке! Ювелир заподозрил неладное, навёл справки и выяснил, что кладовая Абаза пуста! За всё время вдовства Елена Фёдоровна не удосужилась хотя бы раз проверить сокровищницу, и бывший домоуправитель семейства, человек, как считал покойный муж Елены Фёдоровны, безукоризненно честный, подделал ключ и повытаскал всё серебро, продавая его в разных городах. Трубу оставил напоследок и решил рискнуть с новым ювелиром, думая, что тот не узнает. Оказалось, что домоуправитель выстроил себе два дома, в Полтаве и в Кременчуге, положил деньги в банк и жил себе припеваючи! Его, конечно, посадили в тюрьму, но состояния Елене Фёдоровне никто не вернул.

Геничка теряла дом, где можно было встречаться с молодёжью... Забаринские не принимали, Ахиллес Иванович сильно болел. Мама жаловалась, что не может уложиться в шестьдесят рублей, отведённых на хозяйство, но просить прибавки не решалась. Пенсия отца строго распределена: квартира, папиросы, одежда и наши сберкнижки...

Тут и Лёля добавил неприятностей. Он ещё в начале года говорил маме, что не сможет удержать первое место в классе, потому что у него появился сильный соперник в лице недавно поступившего в класс Ициксона. Этот юный еврей обладает блестящими способностями, память имеет великолепную, вообразите, даже у Коваржика с первого же разу получил «пять»! Лёля снизил по русскому, и его учитель Изваленский предложил заниматься с ним отдельно. Говорили, что этот учитель играет на снижении оценок, чтобы потом давать уроки отстающим, и так дошла очередь до брата. Пришлось пойти на этот расход.

Я не знаю, как жила бы, если бы не мой дневник... Здесь я пишу обо всём честно, без опасений быть неверно понятой и незаслуженно наказанной. Вечерами я теперь подолгу не могу заснуть и выдумываю разные сказки, чтобы отвлечься, отстраниться от того, что происходит в семье.

Недавно я играла в мячик в гостиной и невольно стала свидетельницей такой сцены: мама вышла из столовой и остановилась, прислонясь спиной к роялю. Вид у неё был усталый, руки в изнеможении опущены, глаза смотрели куда-то вдаль и, кажется, ничего не видели... Следом за ней бежал отец, протянул к ней руки и воскликнул, задышавшись:

– Зачем ты меня мучаешь, скажи, зачем?

Вид его был так жалок, что я решила помочь ему, подошла к маме и сказала:

– Мама, не мучай папу.

Она вздрогнула, дико посмотрела на меня, сверкнув глазами. А отец схватил меня в объятия и начал покрывать поцелуями:

– Вот это моя дочь, она меня пожалела!

Не скажи он этого, я бы серьёзно поверила, что мама каким-то образом мучает отца, но его театральный тон и мамин взгляд открыли мне правду. Я тихонько освободилась от ласк отца и ушла в свой угол.

Мама стояла у окна и читала письмо, написанное по-немецки, готическим шрифтом. Уже темнело. По щекам мамы катились крупные слёзы, а ведь я никогда не видала её плачущей!

Я чувствовала себя виноватой. Тихонько дотронулась до маминой руки:

– Мама! Ты плачешь...

Она сказала неожиданно тихо и ласково:

– Оставь меня, Ксеничка. Это старые слёзы.

Перстень и цепочка

Свердловск, июнь 1984 г.

Очная ставка – это от слова «очи». Людей сводят в одной комнате, чтобы они смотрели друг другу в очи. Я люблю думать о том, как из одних слов рождаются другие, люблю разгадывать секреты и видеть связи между словами даже там, где их нет, а есть одно лишь созвучие. Папа говорит, что я прирождённый лингвист, но мне не хочется заниматься наукой. Скукота. Вот если бы можно было целый день сидеть за столом и думать о том, как одни слова связаны с другими! Но ведь придётся и лекции читать, и диссертации писать! Нет, это не для меня.

Ну и милицейские расследования тоже, как выяснилось, не для меня. Папа сказал, что пойдёт на очную ставку вместе со мной, а Василий Михайлович назвал это необходимым, поскольку я несовершеннолетняя.

Мы шли на Белореченскую вдвоём и молчали. Когда проходили мимо киоска с мороженым, папа предложил купить стаканчик, но я, конечно, отказалась. Мороженое здесь не поможет.

– Ну не сердись на меня, пожалуйста! – сказал папа вдруг с такой мольбой, что у меня внутри всё сжалось. – Думаешь, легко так жить, на две семьи?

Я опять промолчала.

На Белореченской нас ждали. Сразу же провели в довольно большую комнату, где уже сидели машинистка, Валентин Петрович в сером свитере и незнакомый мужчина с круглым, как будто беременным, животом.

Потом в коридоре раздался топот, и в комнату вошли гуськом, как мы ходим на физкультуре, пятеро высоких мужчин, среди которых я сразу же узнала того красивого злобного типа. Он прихрамывал. И тоже меня узнал – бугры на щеках ходили, как ветер по морю.

Беременный мужчина каким-то будничным голосом сказал:

– Посмотри, Ксения, внимательно на этих людей и скажи, кто из них присутствовал в галантерейном магазине и вступал в конфликт с ныне покойной гражданкой Бланкеннагель?

– Покойной?

У меня после его слов очень сильно заболела голова, даже волосы потянуло куда-то вверх. А Василий Михайлович глянул с досадой на беременного мужчину и сказал торопливо:

– Да, тело нашли вчера утром в Зелёной роще.

Он говорил про Екатерину Дитриховну просто «тело», а Валентин Петрович нетерпеливо поглядывал на пятерых мужчин, сидевших напротив меня прямо как в детской игре «Колечко». Мы в Орске играли в неё с Раей и Светкой, когда были совсем маленькие: все складывают руки лодочкой, а ведущая подходит к каждой и свою «лодочку» опускает в чужую. И так, незаметно, передаёт кому-то «колечко». Играть интереснее, когда людей больше. Вот там, в милиции, был идеальный вариант: пять человек и только один – убийца.

– Смотри внимательно, Ксения, – сказал Валентин Петрович.

Я для чистоты эксперимента заглянула в лицо каждому, но потом указала на хромого красавца. После этого четверо других мужчин встали с места и так же, гуськом, ушли из комнаты, а хромой закричал:

– Я хочу сделать заявление! Эта девка на меня напала с ножницами!

Он даже пытался снять брюки, чтобы показать ранение, но его удержали следователи и беременный мужчина, оказавшийся неожиданно быстрым. А папа мой вскочил с места и тоже закричал:

– Не смей называть мою дочь девкой! Какая она тебе девка?

– Гражданин, успокойтесь, – сказал Валентин Петрович, махнув рукой кому-то в коридоре. – Уведите.

Хромой ухитрился плюнуть на пол перед тем, как его увели из комнаты, и я всё оставшееся время смотрела на этот харчок: его почему-то никто не спешил убирать. Может, потому что все здесь, кроме нас с машинисткой, были мужчины, а они не придают значения чистоте и опрятности? Папа весь просто кипел, но я знала – как только он хотя бы чуть-чуть успокоится, так тут же спросит: что за история с ножницами? Что на самом деле произошло?

Через некоторое время нас попросили перейти в другую комнату и подписать показания. Валентин Петрович спросил как бы небрежно:

– А ты не помнишь, Ксения, было на руке у покойной, то есть у гражданки Бланкеннагель, старинное кольцо с аметистом? Тогда, в магазине?

Я сказала, что не помню, – и в тот же момент вообразила на пальце Екатерины Дитриховны то старинное кольцо, которое нашла на днях у гаражей. Мама всегда говорит, что я часто путаю память с фантазией и сама не всегда понимаю, что происходило со мной на самом деле, а что я попросту выдумала. Но то кольцо действительно очень подходило к ней, более того, я вдруг увидела, как Екатерина Дитриховна поднимает руку, чтобы поправить волосы, и лиловый камень вспыхивает быстрой искрой... А ногти она не красила, и острижены они были коротко.

Валентин Петрович не сводил с меня глаз.

– Дело в том, Ксения, что у Екатерины Дитриховны остались маленькая дочка и старенькая мама. И её мама утверждает, что Екатерина никогда не снимала тот перстень, что он вроде бы как фамильная драгоценность.

– Я недавно нашла кольцо с аметистом на улице. Не знаю, то или другое... Могу показать.

Папа вместе со стулом резко развернулся ко мне, а Василий Михайлович поспешно вышел из комнаты и почти сразу же вернулся с листком бумаги. Там было нарисовано именно то кольцо, которое лежит у меня дома в ящичке стола.

– Интересно, – задумчиво сказал Валентин Петрович, – как только происходит убийство, так тут же поблизости оказывается Ксения Лесовая... Дружит с жертвой, опознаёт подозреваемого, находит кольцо...

Я не поняла, хорошо это или плохо, но на всякий случай польщённо улыбнулась. Мы шли к нам домой целую вечность: я, папа и два следователя. Встретили химичку, потом Лену Ногину с мамой и Виталия Николаевича Тараканова, я вежливо здоровалась со всеми, а Василий Михайлович подозрительно спрашивал о каждом, кто это.

Мама уже вернулась. Открыла дверь в фартуке, в прихожей пахло подгоревшим тестом. Босоножки Таракановой стояли рядом с Димкиными кедами.

– Беляши спалила, – начала объяснять мама, но увидела следователей и замолчала.

Они почему-то не сняли обувь в прихожей, сразу же прошли в комнату, и я целую вечность выдёргивала ящик письменного стола, потому что он всё время застревает.

– Давай помогу, – сказал отец в тот самый момент, когда ящик вывалился мне в руки.

На дне самодельной шкатулки лежали красное пластмассовое кольцо Княжны, её же цепочка со сломанным замком, Ольгина «неделька» и перстень с аметистом. Валентин Петрович даже присвистнул, когда его увидел, а Василий Михайлович достал из кармана пиджака листок с рисунком. И все мы сразу поняли, что это то самое кольцо. Оно было как будто сбывшейся мечтой обоих следователей, они выглядели теперь совершенно счастливыми.

– Вот просто шла по улице и нашла? – шутливо, как у маленькой девочки, спросил Василий Михайлович. Мне это не понравилось, но я постаралась ответить сдержанно:

– Да, именно так всё и было.

– А можешь показать место, где оно лежало?

– Конечно.

Я хотела убрать шкатулку на место в ящик, но Валентин Петрович вдруг достал из неё цепочку со сломанным замком:

– А это что такое?

– Цепочка.

Я нарочно сказала это слово по-таракановски, с ударением на первый слог, чтобы позлить отца: но он никак не отреагировал на вопиющее нарушение культуры речи. Лишь вздохнул, как человек, терпение которого на исходе.

– Понимаю, что цепочка (в отличие от меня, Валентин Петрович произносил это слово, как будто так и надо). Откуда она у тебя взялась?

– Подруга подарила. На день рождения.

– Давно?

– Два года назад.

– Ты не будешь возражать, если мы временно одолжим эту цепочку?

– Пожалуйста. Я всё равно её не ношу. Там замок сломан, видите?

– Вот и именно, что сломан, – сказал Валентин Петрович, буровя взглядом Василия Михайловича. – Вот и именно.

Я подумала, что Валентин Петрович, судя по всему, читает не так много книг, иначе он бы знал, что надо говорить «вот именно», а не «вот и именно». Но исправлять его вслух не стала. Странно, что на Ольгину «недельку» ни тот, ни другой следователь не обратили внимания...

Потом мы вышли из дома (мама неуверенно предлагала милиционерам беляши, но они отказались). Я показывала дорогу. Мне к тому времени всё это уже надоело, я устала и хотела есть, была согласна даже на подгоревшие беляши. Но следователи никуда не торопились. Василий Михайлович изучал надписи на гаражах, Валентин Петрович что-то записывал в блокноте. Место, где лежало кольцо, они исследовали особенно внимательно, потом осмотрели все кусты, траву и даже заглянули в помойный ящик, который стоит по соседству! Василий Михайлович взвесил на ладони поломанную ветку сирени и подобрал с земли пуговицу – блестящую, белую, с нитками и кусочком ткани. Про такие говорят: «Вырвана с мясом».

– Ты очень нам помогла, Ксения, – сказал Василий Михайлович.

А Валентин Петрович хмыкнул при этих словах.

Где варенье?

Полтава, декабрь 1896 г.

Несмотря на все предосторожности, новую до пят шубу, два головных платка, тёплые чулки и большие резиновые боты, отороченные барашком, я умудрилась простудиться, а скорей всего, заразилась инфлюэнцей. Слово это только вошло в употребление. После болезни меня долго мучил кашель, я сидела дома, мама ежедневно ходила в гимназию за уроками. Я стала такая худая и бледная, что мама, когда я как-то к ней обернулась, чтобы о чём-то спросить, не могла скрыть жалости и тревоги, сказав:

– Ну что ты, моя бледнушка?

Это было сказано с такой теплотой в голосе, что у меня от радости сердце забилося. Значит, она всё-таки меня любит! И я почувствовала, что тоже её люблю. Это открытие меня обрадовало. Мне всегда не по себе сознавать, что я не люблю своих родителей.

Мама не на шутку встревожилась и начала меня лечить. Рыбий жир я пила, сколько себя помню, но нужно было добавить ещё что-то укрепляющее, и меня стали поить молоком с чайной ложкой коньяку. Потом кто-то надоумил натывать гвоздей в антоновку и испечь. Я послушно ела яблоки, печённые с гвоздями, без всякого, впрочем, удовольствия. Так как ни румянца, ни полноты не прибавлялось, обратились к доктору, Овсею Захаровичу. Тот пробормотал что-то о конституциональной худобе и прописал железо с молоком. От этого железа, гвоздей или от того и другого у меня пожелтели зубы. Это, конечно, не красило мою худую физиономию.

Мой плохой вид бросился в глаза даже отцу. Он решил помочь делу гимнастикой. Каждое утро выходил в залу с руководством по шведской гимнастике системы Миллера и заставлял меня делать вдохи и выдохи, махать руками и ногами. Мне это нравилось, тем более что отец был миролюбив и не раздражался. Но раз он не вышел, сославшись на плохое самочувствие, а потом переложил всё дело на меня: пусть сама делает, все движения знает. Я сперва делала, потом раз забыла, другой раз забыла, никто мне не напоминал, и моя физкультура кончилась.

Отец решил возобновить прерванные периодом запоя литературные чтения и начал знакомить меня с Тургеневым. Прежде он прочитал мне главные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и «Горе от ума». Сперва читались избранные рассказы из «Записок охотника», потом «Дворянское гнездо». Но роман есть роман, отец, не подготовившись заранее, начал останавливаться, пробегать глазами страницу, опять читать, плохо связав с предыдущим текстом. Такое чтение со скачками и пропусками не доставляло удовольствия ни ему, ни мне, тем более что о Лизе я уже знала из «Галереи детских портретов». Отец скомкал роман, и чтения прекратились, к моему большому сожалению.

Ему становилось всё хуже: водка, табак и гастрономические увлечения делали своё дело. Как-то мама принесла целое блюдо ярко-красных варёных раков и велела мне чистить их для ракового супа. У неё было сердитое лицо:

– Потребовал раковый суп... Знает ведь, что он ему вреден. Прошлый раз болел. Но нет, подай ему раковый суп!

Суп был очень вкусный. В его однородной массе плавали вычищенные мною раковые шейки и красные скорлупки с выпученными глазами и длинными усами, набитые фаршем из сухарей с толчёными лапками. Суп подавался холодным.

Вечером отец заболел. Ему стало очень худо, послали за Овсеем Захаровичем. Мама, испуганная, вбежала в кабинет, где я читала при свечке:

– Молись, молись, Ксеничка, папе очень плохо. Молись, чтоб он не умер.

Я бросилась на колени, стала молиться. В эту минуту мне казалось ужасным его потерять. Через некоторое время мама прибежала:

– Ложись спать. Папе лучше.

В конце месяца приехал брат, он был на практике, на станции Кавказской. Лёля стал ещё красивее, стройнее. Держал себя непринуждённо, немножко важничал, рассказывал смешные анекдоты про товарищей и профессоров. Со мной поздоровался за руку, но разговором не удостоил.

Я ходила в гимназию, готовила уроки, читала, занималась с мамой французским и немецким. На музыку времени уже не оставалось, правда, мама принесла от Шафрановых этюды Бруннера, но они не прижились. Мне играть их не хотелось, а мама не заставляла. Когда отцу стало лучше, он начал читать накопившиеся номера «Нивы» и «Севера» и приложения к ним. Читал газету и делился новостями с мамой. Читал про дело Дрейфюса и крестьянские волнения. Иногда подзывал маму:

– Вот! Читай! Революции не миновать!

Мама читала и вздыхала.

– Все будем висеть на фонаре, – говорил отец.

Мама отходила от него с новым вздохом.

Я прежде читала про французскую революцию, мне всё это казалось далёким историческим прошлым, не относящимся к нашей стране. Разговор родителей встревожил, и я спросила маму:

– Правда, что у нас будет революция?

Она немножко удивилась вопросу, задумалась и затем сказала твёрдо:

– Конечно, будет.

– И мы все будем висеть на фонаре?

– Кто же это может знать? Революция будет, потому что народу жить очень тяжело. А тебе незачем беспокоиться. Ещё не скоро будет.

В ноябре пришло напугавшее всех известие: брат, тогда студент III курса, заболел брюшным тифом. Мама стала сама не своя. Письма и телеграммы из Петербурга от Гени шли беспрерывно. Сестра успокаивала маму. Врачи обнадеживают, организм крепкий, болезнь идёт без осложнений. Отец пил. Мама сидела в столовой, читала письма, вздыхала, писала сама.

Было солнечное зимнее утро, когда пришла страшная телеграмма, что у Лёли рецидив и положение почти безнадежное. Отец был в состоянии тяжёлого запоя, он кричал, бредил. Говорить с ним было бесполезно: он ничего не понимал. Мама с телеграммой в руках стояла, точно окаменев. Потом быстро подошла к шкафу и начала брать оттуда бельё. На меня даже не глянула. Я собралась с духом:

– Ты... уезжаешь?

Также не глядя на меня, она стала укладывать вещи и потом сказала твёрдым голосом, как бы говоря с самой собой:

– Если надо выбирать между мужем и сыном, я выбираю сына.

Я не помню, как мы простились, она так спешила, точно за нею гнались. Возможно, боялась, что отец очнётся и ей помешает. Мама поручила меня прислуге Глаше и исчезла. Глаша подала мне обед, и я ела его, глотая слёзы. После Глаша принесла четырёх котят и сказала, что барыня велела передать их мне. Котята были удивительно красивы: два чёрных, как смоль (один с белой грудкой), один совсем белый и один серый, полосатый. Опасаясь простуды и не доверяя Глаше, мама распорядилась, чтобы я сидела дома, в гимназию не ходила, и я осталась в четырёх стенах без школы, без прогулок, с пьяным отцом и четырьмя котятками.

Из комнаты отца неслись дикие крики. Ничего подобного раньше не было. Глаша отсиживалась в кухне и появлялась только с едой или самоваром. Несколько дней отец бушевал, не пил, не ел и не спал.

«А вдруг он умрёт?» – думала я. И, почувствовав себя такой жалкой, всеми покинутой, начала реветь.

Поздно вечером пришла первая телеграмма от мамы из Петербурга, Глаша принесла её отцу. Он сел в кровати и бессмысленно смотрел на неё. Глаша требовала расписки, совала ему карандаш, он что-то стал чертить дрожащей рукой и завалился на подушку. Нераскрытая телеграмма лежала около его руки на кровати. Я расписалась, Глаша ушла, не задув свечи. Меня охватила тревога. Что там, в телеграмме? Может, брат умер? Застала ли мама его живым?

Отец зашевелился, открыл глаза. Я спросила:

– Что пишет мама?

Он что-то забормотал, я повысила голос:

– Папа! Дай прочесть телеграмму. Лёля жив?

Он смотрел на меня красными, воспалёнными глазами и пытался взять телеграмму, но пальцы скользили мимо. Тогда я сделала попытку овладеть телеграммой, но он меня оттолкнул и опять стал её нащупывать. Что на меня нашло, не знаю, но я почувствовала отчаянную решимость и с криком «Давай телеграмму!» вырвала её у него из руки. Лицо отца стало страшным, он прохрипел:

– Ты, ты... не моя дочь.

– А ты не мой отец! – закричала я и выбежала прочь с телеграммой. Там стояло: положение тяжёлое, но есть ещё слабая надежда.

Когда я пришла в себя, подумала: что же будет со мной, когда отец очнётся? Тихонько заглянула в его угол. Он спал. Я положила телеграмму на стул. Утром он действительно очнулся, но ничего не сказал, не помнил нашей ночной борьбы. Так и продолжала я жить со своими котятками и полной свободой изучать отцовскую библиотеку. Отец с небольшими перерывами продолжал пить.

Мама часто писала отцу, он мне ничего не рассказывал, но письма передавал. Брат долго болел, одно осложнение следовало за другим: воспаление лёгких, воспаление почек, водянка, закупорка вены, ещё что-то. Его поместили в частную немецкую больницу, в отдельную комнату. Мама жила с Лёлей и ухаживала за ним, переходя от надежды к отчаянию. Отец после запоя был очень слаб, не вставал, за ним ходила Глаша, а мною он не интересовался. Я свыклась со своим одиночеством и стала чувствовать себя очень недурно. В одном из писем мама написала, чтобы я брала варенье из шкафчика в комнате. Я поняла это разрешение как неограниченное и стала уплетать варенье в любую пору дня, особенно за чаем. Не знала, как отнесётся отец к моему хозяйничанью, поэтому действовала осторожно, стараясь не звякнуть ключиком, не стукнуть дверцей, но отец обычно был в таком состоянии, что ничего не примечал или спал. Варенье услаждало моё одиночество, но быстро таяло.

Брат выздоровел – врачи заявили, что только благодаря самоотверженному уходу мамы. Когда она вернулась в Полтаву, тут же стала наводить везде порядок. Открыв шкафчик, остановилась в недоумении. Он был пуст, осталось лишь немного чёрной смородины.

– Ксения! Где же варенье?

– Да ведь ты сама мне написала, чтобы я ела.

Мама посмотрела на меня, покачала головой и ничего не сказала. Может быть, она подумала, что мне помогла Глаша. Но этого не могло быть – шкафчик я запирала, а варенье можно очень быстро уничтожить, если в течение четырёх месяцев есть его столовыми ложками.

Чужие дневники

Свердловск, июль 1984 г.

Я нашла дневники Ксении Михайловны Лёвшиной в стенном шкафу, когда мне было десять лет. Я знала, что мою бабушку, погибшую во время ленинградской блокады, звали Ксенией и что меня называли в её честь.

Все эти годы я доставала из крапивного мешка тетради и читала их тайком от родителей и брата. Я боялась признаться, что читаю их без спроса, – и ни разу, ни разу не попалась!

До сегодняшнего дня.

Мама с папой утром разругались, и мама плакала, а я не могу, когда она плачет, у меня внутри как будто всё слипается в один комок: и сердце, и желудок, и лёгкие превращаются в один тяжёлый больной шар.

Наверное, он рассказал ей про Танечку и Александру Петровну. Я не знаю.

Пьяницу, который убил Бланкеннагель, будут судить, об этом даже писали в газетах. В самом конце статьи выражалась благодарность следователям, задержавшим опасного преступника. Нашлись свидетели: оказалось, что пьяница ударил Екатерину Дитриховну на той тропинке, где валялось кольцо. Оно даже слетело у неё с руки, и пуговица от кофточки отпала. Не понимаю, почему свидетели не вмешались и только теперь вдруг стали рассказывать о том, что тогда произошло. Серёжа Сиверцев говорил, что обвиняемый признался, что у них с Бланкеннагель была ссора и даже потасовка, но отказался брать на себя убийство.

– Всё равно ему вышка, – сказал Серёжа. – И тех, других, скорее всего, тоже он убивал, так что зря того парня расстреляли.

У меня это в голове не укладывалось, и вообще я последнее время чувствовала себя как-то мутно, точно как в детстве, когда Димка налил мне в компот мыльные пузыри. Может, поэтому я вела себя не так бдительно, как обычно, и, когда папа заглянул ко мне в комнату, не успела спрятать Ксеничкин дневник. Там – сто лет назад – тоже была грустная семейная история... Михаил Яковлевич изводил свою жену, она плакала, и Ксеничка страдала от этого не меньше, чем я.

– Что это у тебя? – спросил папа.

Я попыталась спрятать тетрадку, как на контрольной, когда скидываешь на колени шпору, но учитель уже рядом, и всё это бесполезно, бессмысленно!

Лицо у папы стало вдруг напряжённым (а было все последние месяцы виноватым). Он выхватил у меня из рук тетрадь, из неё выпал лепесток, засушенный, видимо, Ксеничкой. Он был таким ветхим, что разлетелся в пыль. А жаль, мама бы сразу же определила, что это за цветок... Я стала собирать пыль со стола, она была похожа на специи хмели-сунели.

– Кто тебе разрешил это брать? – Папа говорил спокойно, но это было какое-то нехорошее спокойствие.

– Никто. Я думала, что имею право читать дневники своей бабушки.

– Бабушки? – Он с таким изумлением смотрел на меня, что я совсем растерялась и ещё больше занервничала.

– Но ведь она была твоей мамой? Значит, бабушка...

– Эти дневники... – сказал папа, размахивая тетрадкой. – Я забрал их домой из музея, потому что они пылились там неизвестно сколько времени.

Вздыхнул и добавил:

– Твоя бабушка, Ксения Витольдовна Лесовая, никогда не вела дневников.

Часть вторая

Изобретение велосипеда

*Мы не можем сменить родину. Давайте-ка сменим тему.
Джеймс Джойс. «Улисс» (перевод В. Хинкиса, С. Хоружего)*

Втёмную

Лозанна, август 2017 г.

На квартиру приехали поздно ночью, город крепко спал: дома слегка похрапывали, улицы постанывали во сне. Здесь ложатся рано – из окна машины Ксана увидела только одного пешехода, старичка с потерянными лицом.

Ещё в аэропорту ей сказали, что электричества в доме нет, отключили за неуплату, и она может на первую ночь остаться у Наташи – принимающей стороны. Работа начнётся утром, а свет дадут в лучшем случае к обеду, тогда и переедет. Ксана с благодарностью согласилась: повезло с Наташей, не всегда так везёт! Но по дороге всё-таки попросила показать тот дом без света.

Он стоял высоко над озером. Трёхэтажный, старый, с хорошей крепкой крышей, дом был даже не вписан, а врезан в рельеф. Лозанна холмистая, улицы здесь проложены по бывшим горным тропам, и дома тоже, как умеют, взбираются в гору. Дверь в квартиру, по русским понятиям хлипкая, открывалась единственным ключом, одним поворотом. А внутри было вовсе не темно: комнату, обещанную Ксане, заливал лунный свет – как в романсе! Окна открыты, но всё равно пахнет старой мебелью и ещё чем-то с детства знакомым. Вдруг вспомнился орский сарайчик, где она пряталась от бабушки с подшивками «Крокодила». Мечтала о заграничных, уплетая горох и помидоры. Вот они, границы...

– Я даже не знаю, где тут у них свечи, – сказала Наташа. – А, вот, глядите, фонарик!

– Замечательно! Давайте не будем огород городить (ещё раз отозвался родной-огородный Орск), я здесь прекрасно выплусь. Скажите, куда и когда мне нужно завтра...

– Мы за вами заедем! К девяти спускайтесь, – замахала руками Наташа.

Ксане понравилось, что «принимающая сторона» не стала её уговаривать: хочешь спать в потёмках – спи спокойно, дорогой товарищ! В России никто бы не потерпел такой дури, за руку бы уволокли на свет, за ушко да на солнышко! А здесь просто пожали руку – и через минуту Наташина машина сворачивала в ближайший проулок.

Надо разобраться, как закрыть дверь изнутри. На всякий случай. Любой человек из девяностых помнит про «всякий случай» и запирается на ключ даже в Швейцарии. Она подсветила замок фонариком – там была круглая ручка, похожая на комодную. Покрутила влево, и – вуаля – дверь больше не открывалась. Луна тем временем скрылась. Прошумел одинокий автомобиль, какая-то ночная птица начала было петь, но передумала. Квартира, судя по всему, большая, кухню и ванную Ксана нашла с третьей попытки. Приняла душ при свете фонарика и легла в кровать, думая о том, что ещё ни разу не засыпала в настолько незнакомом месте. Увидеть его можно будет только завтра.

День выдался не из лёгких: два перелёта, задержка рейса в Москве, непрестанно кричащий младенец в самолёте и точно так же непрестанно пожирающие изнутри угрызения совести.

«Опять в Швейцарию!» – с обидой выкрикнул Андрюша, когда Ксана стала с ним прощаться. Даже не сказал ей до свидания, но деньги, оставленные на тумбочке, забрал.

Лёжа под чужим одеялом и вдыхая родные орские запахи (откуда, каким ветром?), Ксана пыталась успокоиться и заснуть. Она здесь не ради развлечения, это её работа. Работа нужна для того, чтобы зарабатывать деньги. Деньги нужны для того, чтобы отдать Долг. В Лозанне, если всё удачно сложится, она получит не меньше двух тысяч франков. Плюс еда. Будет один выходной день (возможно). Заснуть всё равно не могла: слишком много было кофе, перемещений и переживаний для одного дня. Читать в темноте не получится, ноутбук разрядился

ещё в Москве. Глаза тем временем привыкли к темноте: вон там, справа, шкаф – дверцы на ключах. Окна без штор. Над комодом – картина, неведомо что изображающая.

Ксане нравилось останавливаться в чужих домах – здесь каждая вещь рассказывала свою историю, какие-то говорили громче, какие-то шептали. Ксана старалась выслушать каждую, если не падала вечером замертво после целого дня работы. Чем старше она становилась, тем труднее было настроиться на дивное, непосредственное восприятие, наслаждаться моментом – у всякого, даже самого прекрасного впечатления имелась своя тень.

Ксана вдруг села в постели. Вспомнила, что мама вчера сунула ей с собой какой-то паке-тик. Была у них такая семейная игра: когда кто-то уезжал, ему давали с собой «секретное письмо», открыть которое надо было не раньше, чем доедешь до места назначения. Это было мамино суеверие, тоже, по сути своей, семейная игра, но выросшая из трагедии. Мамин орский дядя возвращался из путешествия в Среднюю Азию, телеграфировал «Приеду девятнадцатого», но умер в вагоне поезда. С тех пор во всей маминой семье «приеду» было под запретом, говорили исключительно «должен, должна приехать». А если вдруг оговаривались, тут же сами себя поправляли.

Лет тридцать или больше не получала она «секретных писем», ну надо же. Какой-то свёрток, при нём конверт из-под счёта за квартиру: мама тоже на всём экономит, даже пакетики от хлеба не выбрасывает – «их же можно ещё куда-нибудь»... Ксана тяжело вздохнула, в бес-счётный раз пожалев маму за её нищенскую старость, сердясь на себя, что не обеспечила её так, как следовало бы. Вот Танечка справилась на отлично – Александра Петровна и по сана-ториям ездит, и в Париже дни рождения празднует, и даже ногти накладные носит – на руках и на ногах! Танечка работает в банке, премии получает по миллиону. Нет нужды везти домой пробники из аптек и мыло из гостиничных ванных.

Ксана включила фонарик, достала из конверта свёрнутый вдвое листок бумаги. «Девочка моя, – писала мама, – я нашла этот дневник у тебя в столе, когда мы с Андрюшей делали уборку. И ещё одну тетрадку при нём – похоже, из того мешка, оставшегося от Лёвшиной. Вдруг у тебя будет свободная минутка в Швейцарии – почитаешь. Вспомнишь, какой ты была и какими мы все тогда были. Целую. Мама».

В пакете действительно лежали две тетради – одна с красным корешком, буква «О» в слове «Общая» густо закрашена чернилами. Вторая – ветхая, в картонной обложке. Ксана взглянула на тетради и тут же поняла, что сон отменяется.

Ксеничка Лёвшина. Лучшая подруга детства и чужая бабушка...

На улице тут же запела давешняя птица, как будто одобряла глупое решение не спать до утра.

Скользкий полоз

Лозанна, февраль 1899 г.

Ксеничка думала, что тяжело будет переживать разлуку с мамой: расставались обе в слезах, – но теперь она наверное знала, что холодна сердцем, потому как здесь, у Лакомбов, словно бы воспрянула ото сна и увидела в жизни новые краски. Болезнь Лёли, Генины выкрутасы, отцовские «истории», Полтава – всё теперь виделось словно бы через некую дымку. О маме Ксеничка, конечно же, скучала, но не могла сказать, будто её каждодневно не хватает.

В последние полтавские дни отец почти не покидал постели, часто был нетрезвым или каким-то оглушённым. Младшая дочь его почти не видела и не стремилась видеть. Все ритуалы с целованием рук отпали сами собою. Ксеничка ходила в гимназию, её перевели в четвёртый класс со всеми пятёрками и присвоили награду – книгу «Среди цветов» в хорошем переплёте, но невыносимо скучную; даже Лёлин учебник по ботанике, сухой и плохо изданный, был интереснее.

Дня через три после своего возвращения из Петербурга мама вдруг остановила Ксеничку:

– Как ты держишься? Стань прямо.

– Да я прямо стою.

– Нет, криво, одно плечо подняла, другое опустила.

– Я прямо стою! Не понимаю, чего ты от меня хочешь.

Мама взяла Ксеничку за плечи и охнула:

– Господи боже! Когда ты успела скривиться? Вот беда! Кто ж тебя замуж возьмёт, кривобоку!

Скривиться было немудрено, когда сидишь втроём на одной парте и пишешь, спустя одну руку в проход, вся изогнувшись. Так учились в полтавской гимназии.

Обратились к неизменному Овсею Захаровичу, узнали новое слово – *сколиоз*. Ксеничке, чуткой к словам, увиделся скользкий змей-полос. Пока мамы не было в Полтаве, змей успел прогнуть позвоночник в двух местах, один бок у девочки был теперь заметно выше другого. Овсей Захарович прописал особенный корсет и посоветовал обратиться к специалистам. Корсет (опущенное плечо подпиралось твёрдой замшевой подушечкой, как у костылей) оказался, увы, бесполезным и даже вредным, так как натёр кожу до сильнейшего раздражения.

О том, что семья в очередной раз меняет квартиру, а потом все едут в Петербург за Лёлей, а после – в Швейцарию к дедушке, Ксеничка узнала едва ли не в последнюю минуту. А ведь то была великая новость! Лёле после тифа требовался длительный отдых в хорошем климате, но он был слаб и один ехать не мог, а Овсей Захарович порекомендовал ещё и папу свозить за границу для поправления его расшатанного здоровья. Дедушка Долматов написал, что в Лозанне есть *ортопедический* (ещё одно новое слово!) институт, где кривизну вылечивают, так что и Ксеничке будет польза.

Такой роскошный план и обрадовал, и озадачил Ксеничку. Слишком уж всё выглядело сказочным. Даже не верилось. Она несмело спросила у матери:

– А деньги где возьмём?

– Дедушка даёт, – ответила мама.

Ксеничка едва не воскликнула: как так, ведь они с папой в ссоре! Но прикусила язык. Опыт научил её, что не всегда следует входить в подробности.

Начались суэта, сборы.

Наконец отправились в путь. Поезд шёл глубокой ночью, пришлось долго ждать на вокзале. Отец после беспокойной зимы был очень слаб, говорил мало, казался ко всему равнодуш-

ным. Всем заправляла мама, и это было непривычно. Ксеничке очень хотелось спать. В зале первого класса было пусто, только два красномордых помещика сидели перед батареей бутылок и спорили пьяными голосами. Ксеничка их ненавидела. Из экономии решено было ехать в третьем классе. Мама наняла носильщика, дала ему хорошо на чай, и он повёл Лёвшиных по тёмным железнодорожным путям к ещё не поданному вагону. Там дали на чай кондуктору и заняли два нижних места. При всех пересадках использовался тот же метод.

Отец всю дорогу пытался приобрести прежний вид и авторитет. Вначале ему это плохо удавалось, он лёжа разглагольствовал, высказывал вслух свои мнения о пассажирах, вообще вёл себя так, что Ксеничке было неловко. К концу дороги посвежел, подбодрился, встал, смотрел вместе с дочерью в окно и делился впечатлениями. И опять, как бывало в прежние времена, Ксеничке стало с ним интересно и радостно, и тёплое чувство к нему вновь зашевелилось.

Уже немного пути оставалось, когда поезд остановился на разъезде, в лесу. Отец вдруг сказал:

– Смотри, Ксения, вот осина.

С осиной, северным деревом, Ксеничка была знакома плохо, но приметы её знала. Поезд тронулся, девочка посмотрела, куда указывал отец, но увидела лишь кудрявую берёзу. И дёрнуло же её сказать те несчастные слова:

– Это не осина, а берёза!

Раньше Ксеничка никогда не осмелилась бы ему перечить, но тут, в поезде, поверила лишь своим глазам и ляпнула не подумав. Тут же выплыло «неуважение к отцу» – он поменялся в лице, отошёл от окна. Наступило тягостное молчание, в котором и доехали до Петербурга. Евгения, встретившая семью на вокзале, по деревянной физиономии сестры и постным лицам родителей сразу поняла, что произошла «история». Взяли извозчика, чтобы ехать на квартиру к Долматовым. Ясная погода, широкий Невский, чудесные клодтовские кони – всё теперь было неважно, радость от Петербурга погасла.

Анета с детьми гостила у деда в Швейцарии, Александр уехал за границу по служебным делам. Отец был мрачен, скрылся в долматовском кабинете; мама с расстроенным лицом требовала, чтобы Ксеничка шла просить прощения.

– Но ведь я в самом деле не видала осины!

– Это неважно! Как ты могла возражать папе?

– Раз я видала берёзу?

На солнце

Лозанна, август 2017 г.

Ксана глянула на часы: ого, полдевятого! В затылке мрачно постукивала усталость, уснула ведь только под утро, читала Ксеничкин дневник, тоже писанный в Лозанне. Скоро приедет Наташа с клиентами. Ксана вскочила с кровати и, чертыхаясь на всех языках, натянула джинсы и футболку. Чуть не запнулась о собственный чемодан, стоявший посреди прихожей.

О еде вспомнила, когда осталось несколько минут до встречи. Утренний приём пищи самый важный – Ксана могла не обедать и не ужинать, но всегда завтракала, и ей, как правило, хватало этого на целый день. Достала из чемодана пакетик с сушками «Малютка», вытащила из кармана ветровки мандарин. Потом сообразила, что прихватила с собой булочку и сливочное масло, которыми, помимо прочего, потчевали в «Аэрофлоте». Масло растаяло с боков и стало ещё вкуснее. А воду в Швейцарии можно пить из-под крана. Конечно, кофе бы не помешал, но, будем надеяться, в клинике стоят автоматы. В клиниках всегда автоматы.

Ксана поспешно жевала булочку с маслом, рассматривая картину на стене. Ночью это был чёрный квадрат в раме, утром он обратился белыми розами, старательно выписанными доморощенным живописцем. Такие розы, помнится, любила Тараканова – на свадьбе в «Старой крепости» каждый стол был украшен букетом белых роз, а салфетки на тарелках сложены высокими треугольниками, напоминавшими паруса. Ира, хоть и была беременна, напилась ещё до того, как подали горячее, и поминутно выбегала в холл звонить из телефона-автомата. Принялась зачем-то ошипывать розы, сосредоточенно обрывая лепестки и выкладывая из них на скатерти одной ей понятный орнамент, а потом, сдвинув тарелки, положила голову на руки и лежала на столе, как мёртвая.

Ксана выпила воды из-под крана – было вкусно, как в детстве. Когда спустилась вниз, её уже поджидала знакомая машинка – за рулём Наташа, на заднем сиденье клиенты. Румяный мальчик лет пятнадцати и его мама с горестными заломами у рта. На плече поблёскивает анти-никотиновый пластырь. Ксана будто в зеркале себя увидела. Наташа искала выезд на трассу и одновременно знакомила Ксану с клиентами.

– Это у нас Боря, а это его мама, Лидия Александровна.

– Да можно просто Лида.

– А меня тогда зовите Ксения.

Боря смотрел в окно, на Леман и Альпы. Горы напоминали высокую волну, уже поднявшуюся стеной и готовую обрушиться на озеро.

– Красиво, правда? – спросила Лида у сына. Говорила она с ним заискивающе, точно как мама с Андрюшей в трудные дни.

– Нормально, – ответил он.

– Первый раз в Швейцарии? – поинтересовалась Ксана.

– Первый. И, надеюсь, последний. Ну то есть хотелось бы при других обстоятельствах, вы понимаете...

Ксана очень хорошо понимала Лиду. Именно потому, что она очень хорошо понимала таких Лид, у неё и было столько работы: в реестре она была самой востребованной. Наниматели терпеливо ждали, когда именно эта переводчица возьмёт заказ. Романдия, Бельгия, Франция – она моталась из одной клиники в другую, из Парижа в Дижон, из Брюсселя в Женеву, из Ниццы в Эвиан, из Клермон-Феррана в Лозанну. Если попытаться начертить на карте её обычный трёхмесячный маршрут, получится каляка-маляка расстроенного малыша. По утрам, просыпаясь, спрашивала себя, где находится, – ещё до того, как скороговоркой помолиться и вспом-

нить обо всём, что хочешь забыть. Иногда стены гостиничного номера или нанятой комнаты о чём-то говорили, иногда только сильнее запутывали: в парижском отеле висел постер с женевским фонтаном, в Женеве прямо напротив кровати прилепили карту Брюсселя. Мир, который был в детстве огромным и непостижимым, давно принял размеры гимнастического мяча, который никак не давался маленькой Ксане Лесовой, отчисленной из секции художественной гимнастики при свердловском областном Доме спорта. «Девочка способная и ест мало – это хорошо. Но ленивая. Не будет толку», – сказала, как припечатала, тренерша с башкирской фамилией. Ксана и вправду не стремилась к спортивным успехам – прыгала на пыльных матах с такими же лентяйками, пока другие усердные девочки доставали ногами до головы и делали кувырок назад.

Зато теперь Ксану лентяйкой не назовёшь – хватается за каждое предложение, как святой Фома за пояс Богородицы. Пациенты, их напуганные родственники, врачи, страховщики, координаторы... Ложится спать поздно ночью, а в голове продолжают крутиться чужие диагнозы и слова сочувствия, французские и русские, слипшиеся к вечеру трудного дня в монолитную массу. Тем не менее находились люди, которые завидовали Ксане. Как же – за граница! Сыр, комфорт, зарплата в твёрдой валюте. Прекрасные пейзажи, точные поезда, свобода слова.

Боря всё время смотрел в окно. Ехали мимо виноградников Обонна. Высокая и немного нелепая белая башня торчала посреди пейзажа как восклицательный знак.

– Эту башню, – неожиданно включилась Наташа, – построил в XVII веке Жан-Батист Тавернье. Он продавал бриллианты французским королям, а потом купил себе город Обонн и ушёл на покой.

Боря внимательно слушал, хотя его блестящее гладкое лицо (у всех, кто принимает эти препараты, такие лица) было всё так же повёрнуто в сторону окна.

– И что дальше? – Мальчик не желал покоя Жану-Батисту Тавернье, хотел знать, что было потом.

Наташа крутанула руль – свернули на просёлок, тянущийся между виноградников. У некоторых лоз были высажены розовые кусты – так делают, чтобы следить за виноградом. По самочувствию роз судят о благополучии лозы: швейцарский метод, о котором Ксана слышала раньше, возможно во время другой поездки с другими Борей и Лидой в другую клинику.

– А дальше он внезапно решил ехать в Москву, по каким-то срочным бриллиантовым делам. – Наташа говорила нараспев, как будто читала вслух сказку. – Был Жан-Батист Тавернье уже очень немолодым человеком. Сидеть бы такому в мягком кресле у тёплого камина, любоваться горами над Леманом... Так нет же! – В голосе Наташи вдруг звякнули железные нотки, как будто связка ключей упала на каменный пол. – Зачем-то поехал в Москву и сгинул там.

– Как – сгинул? – Боря отвернулся от окна, раскрыл рот.

Наташа, судя по всему, имевшая к обладателю замка какие-то личные счёты, пожала плечами:

– А вот так – сгинул, и всё. Никто не знает, где он похоронен. Нечего было ездить в Москву в таком возрасте!

Боря проводил внимательным взглядом обоннскую башню, ещё раз мелькнувшую за окном, как будто призрак Тавернье погрозил толстым белым пальцем, прежде чем скрыться в холмах.

Приехали. Наташа вышла из машины первой, Ксана и Лида выбрались следом, а Боря долго не выходил, настороженно разглядывая в окно большой белый дом с коричневой крышей и живую изгородь из роз. Лепестки лежали на траве вперемешку, словно розы всю ночь дрались.

– Борис, нам пора! – оживлённо сказала Наташа, открывая пассажирскую дверцу.

Вблизи гулко звенели коровьи колокольцы, будто кто-то ни разу не воспитанный мешал сахар в стакане гигантской ложкой.

Доктор был высокий, знающий, равнодушный. Говорил про кетаминовые капельницы, нейромодуляции и транскраниальную магнитную стимуляцию.

– Не забывайте, ему только шестнадцать, – волновалась Лида.

Всё как обычно: Ксана переводила, не дожидаясь, пока доктор закончит фразу, она заранее знала, что услышит. Её метод перевода подходил не всем, один нервный невролог упрекнул Ксану: «Мадам Лесовой, мне кажется, вы сидите у меня в голове и оттуда выкрикиваете!» Но что поделаешь, за годы практики она сама уже стала кем-то вроде психиатра, во всяком случае, с диагнозом ошибалась редко; вот Борю увидела и сразу догадалась: биполярка. Сейчас у него период упадка, вялость, потом начнётся «гон», бешеная активность, он будет делать уроки вперёд на неделю, играть с друзьями в компьютер, а потом снова заляжет у себя в комнате, как в берлоге, и станет смотреть в потолок, как другие смотрят в телевизор.

Доктор заметно повеселел: предполагаемый пациент только что стал пациентом реальным. Сказал, бумаги подготовят часа через два, а пока они могут погулять в саду, или вот у них тут в Бушийоне есть дивный дикий пляж. Буквально десять минут на машине – и можно искупаться или позагорать в тени деревьев, день-то жаркий! Выяснилось, что у всех, кроме Ксаны, были с собой купальные костюмы. Какие предусмотрительные люди!

Спустились в Бушийон, крошечный городок, где велосипеды привязывают к деревьям. Машину оставили рядом с часовней. По очереди посетили бесплатный туалет, переоделись. В багажнике нашлись полотенца – застиранные, с намертво въевшимися пятнами от солнцезащитного крема. Пляж скрывался за деревьями, они, казалось, выше, чем горы. Горы, тем более, успели скрыться в облаках – какого-то часа в клинике хватило, чтобы они спрятались. Так, мутнело что-то впереди, и вода, как в учебнике физики, превращалась в пар.

Боря не стал раздеваться: стеснялся. Они сидели вдвоём с Ксаной на берегу, пока Лида с Наташей – обе неожиданно стройные, подтянутые, а Лида ещё и с красивыми ногами – плескались в озере. Боря молчал, косился на соседей, занявших лучшее на всём пляже место под акацией и кедром. Вне всяких сомнений, пациент всё той же клиники и его отец. Мальчик – олигофрен.

Как же много во всех языках этих слов, которых приходится избегать: *больной, сумасшедший, безумный, ненормальный, рехнулся, чокнулся, не в себе, у тебя с головой что-то, не соображаешь, дебил, псих, с ума сошёл...* Или кто-то вдруг говорит: «*Да это какое-то безумие!*» Или «*У нас тут дурдом*». Или «*Он с ума по ней сходит*».

В мировой культуре – и той, что в заоблачных даях, и той, что плещется на уровне колен, – изобилие именно этих сюжетов и совпадений. Там всегда кто-то сходит с ума, как, впрочем, и в жизни, порою совсем некультурной. Вообразите, Аркадий Петрович тоже лежал. И Ольга обращалась. А Саша получает регулярное лечение, иначе почему бы у него лицо стало в последнее время таким гладким и немного блестящим? Это, я вам точно говорю, от препаратов с обратным захватом серотонина. Таблетки в баночках гремят, как детские погремушки. Рецепты хранятся в плотных конвертах и пластиковых «файлах». Нам бы с минимальной «побочкой».

Ксана оперлась на локти, выглядывая в воде купальщиц. Лида загорала на камнях, образующих естественный мол. Наташа плыла почти вровень с теплоходом, пересекавшим Леман. Теплоход спешил во Францию. Кажется, Ксану всё-таки прибило к сонному берегу... Ну или сейчас прибьёт.

Она спала, уткнувшись носом в чужое полотенце. Вот сейчас ей действительно можно позавидовать... Швейцария, озеро, солнце, пустота в голове – ни одного медицинского термина не вытрясешь. Птицы звенят-заливаются, как тот дрозд, что пел у них под окном прошлой весной. Ксана считала его соловьём, но мама сказала: нет, это певчий дрозд. И певец – кем бы он ни был – сразу после этих слов умолк. Птицы звенят, заливаются... Теплоход швартуется у пристани Эвиана. Горы играют с облаками, примеряя их, как шляпы.

Ксеничка Лёвшина с маленьким старым чемоданчиком стоит на пороге чужой квартиры и медлит войти.

«Сия девица отменно хороша...»

Лозанна, февраль 1899 г.

На вилле «Роза Ивановна» всё шло своим чередом: Ксеничка каждый день ходила в институт к Шольдеру на бульвар Гранси, терпела болезненные растяжки и упражнения, а потом бежала домой, на Флеретт. Там всякий раз ждал какой-то сюрприз, обычно приятный.

Маргерит встретила в дверях, улыбаясь:

– Тебе письмо из дому.

Письмо было из Петербурга – видно, пора называть его домом. Ксеничка улыбнулась, как того ждала Маргерит, и вышла с письмом в садик, неровно разорвала край конверта. Мама писала поспешно, ей было некогда, как обычно, но всё-таки чувствовалось: она скучает по младшей дочери. Интересно, как они там устроились и когда вернутся в Полтаву? Ксеничка пусть и понимала, что это ошибочно, но всякий раз представляла своих на квартире Долматовых в третьем этаже здания Министерства иностранных дел. Вход с Мойки. Дядя Александр служит дипломатическим курьером, он знает много языков и ездит по службе то в Испанию, то в Сербию, то во Францию.

Квартира у Долматовых великолепная, как все казённые. Высокие лепные потолки, просторные комнаты, обширный зал. Правда, в тот раз в связи с отъездом хозяев вся мебель была под чехлами, картины, люстры и зеркала завешены, портьеры сняты. Только в одной комнате, где Ксеничка спала на диване, висела незавешенная картина – и занимала весь простенок. Это была работа живописца Константина Изенберга, брата Анеты. Картина изображала царевну Софью в монастыре, в бессильном отчаянии перед решетчатым окном. Геня, мельком взглянув, сказала, что картина дурная – пропорции не соблюдены, рука несоразмерно велика и что-то ещё. Но Ксеничке «Софья» нравилась – это было единственное, на что она здесь могла смотреть.

Погода в Петербурге стояла в те дни хорошая, солнце припекало даже через окна. Мамы и Гени целыми днями не было дома. К отсутствию сестры Ксеничка давно привыкла, Евгения была самостоятельна и жила отдельно. Она работала на редакцию журнала «Искусство и художественная промышленность», переводила статьи иностранных писателей с немецкого, английского, французского. И сама, Ксеничка верно знала, пыталась писать о различных художниках, так что Изенберга судила со знанием вопроса. Мама хлопотала заграничные паспорта и навещала Лёлю в больнице. Отец выходил только к обеду.

Ели за столом без скатерти из какой-то сборной посуды, обед приносили из кухмистерской. За едой все молчали. Отец из-за той берёзы запретил брать Ксеничку куда бы то ни было, а она упёрлась в своей невинности и прощения не просила. Более того, считала себя несчастной, несправедливо обиженной, думала: никого я не люблю, ни папу, который лишает меня возможности увидеть Петербург, ни маму, которая не хочет меня защитить. Книг у Долматовых не было, только в шкафике лежали огромные тома словаря Ларусса. Геня, которая жила здесь после своего бегства из Полтавы, говорила, что Александр и Анета, ссорясь, бросали друг в друга Ларуссом. «Как это они умудрялись бросаться такими тяжёлыми книгами», – думала Ксеничка. Она нашла в конце концов старый англо-французский самоучитель и очень старый франко-русский разговорник с комичными оборотами. Под рубрикой о красоте там были такие фразы «Сия девица отменно хороша. У неё синий (*livide*), серый (*blême*)⁴, прекрасный цвет лица. Она безобразна. Рука у неё, как у паука».

⁴ *Livide* (фр.) – синюшный, мертвенно-бледный; *blême* (фр.) – землистый.

Та, первая, поездка в Швейцарию почти всей семьёй запомнилась в лучших подробностях. Сели в поезд на Варшавском вокзале, ехали во втором классе, и Ксеничка узнала новое слово *плацкарта*. Лёля был одет в серый штатский костюм, он сильно похудел после болезни и казался чужим, хотя выглядел весёлым, жизнерадостным.

Ксеничка считала, что она одета очень неплохо. Анета пожертвовала бедным родственникам узелок Нюшиных обносков: несколько кофточек и длинную серую юбку. Эта юбка всё время сползала, кофточки выбивались, ну и кривизна сказывалась – один бок у юбки свисал... Но девочка не стыдилась своего туалета: настолько он был в последнее время заброшен, что ей и такое казалось хорошим.

Она хорошо помнит, как впервые увидела Швейцарию – страна встретила темнотой и длиннейшими туннелями. Огня в вагонах не зажигали, все ехали во тьме крошечной. Отцу становилось всё хуже, он задыхался и дышал громко, с хрипом. Ксеничке было жаль отца и страшновато самой, всё думала: скоро ли, скоро ли будет свет? А его всё не было.

Длинное железнодорожное путешествие наконец завершилось, измученные путешественники сошли с поезда и взяли ландо. Теперь ехали по Ронской долине, Ксеничка глядела на горы и знаменитую *Dame du Lac*, Деву Озера: следы горных ручьёв избороздили склон так, что получился рисунок дамы в широком платье, подол его терялся где-то у основания. В Эгле тоже был большой замок, а название города означало «орёл». Там Лёвшины наняли два экипажа и начался подъём в горы. Чем выше ехали, тем становилось красивее, но дыхание как будто стеснялось.

Им предстояло ехать до местечка Сепэ, а оттуда в деревню Сернья, где Александр Александрович Долматов, дед Лёли и Ксенички, нанял для себя шале, а для них – половину дома у местного лавочника. Взбирались вверх медленно, подъём был крутой и петливый. Навстречу с гор ехали экипажи и телеги, запряжённые мулами. Ксеничка полагала, что мул чуть больше осла, но это оказались здоровенные лошади с длинными ушами. Они были красиво убраны, в расцвеченной сбруе, с красными помпонами на голове.

Горы поднимались всё выше и выше. *Dents du Midi*⁵, видные ещё из Ронской долины, сверкали своими семью вершинами. Дорога была хорошая, широкая, огороженная каменным парапетом; через него виднелись крутые спуски, иногда похожие на пропасти. В Сернья прибыли вечером, подъехали к дому, где предстояло жить. На самой дороге среди других шале стоял снизу оштукатуренный и окрашенный в бледно-жёлтый цвет двухэтажный домик. Верхний этаж был чёрный, бревенчатый, крыша крутая, двускатная, на ней лежали большие камни. Слева дверь в лавку, справа – в комнаты. Ксеничка с братом должны были жить наверху. Лавочник с женой стояли у своей двери, их дети – маленькая Жюдит и ещё меньший Антуан – глазели на новых жильцов и на красивого седого господина, пришедшего их встретить.

Ксеничка от смущения продолжала разглядывать Швейцарию: дорога здесь понижалась, потом сворачивала круто в гору. Вблизи росло несколько деревьев, виднелась зелёная лужайка, а дальше – крутизна, обрыв в глубокую долину, поросшую лесом.

Михаил Яковлевич еле держался на ногах. Когда он сошёл с экипажа, лицо у него было как у мученика, когда его возводят на костёр. Встреча зятя с тестем была обоим тягостна. Свиделись два бывших врага, один из которых победил другого великодушием. Михаил Яковлевич сделал какое-то движение руками и что-то пробормотал – маленький, худой, задыхающийся. Александр Александрович – статный, прямой, высокий, тоже смущённый – сделал жест рукой, точно отводя какие-либо разговоры, а мама, вся сияя при виде своего отца, поскорее увела Михаила Яковлевича в комнату.

⁵ *Dents du Midi* (фр.; букв.: «зубы полудня») – расположенная в кантоне Вале гора.

Швейцарский нож

Лозанна, август 2017 г.

– Электричество дали?

– Не знаю, утром не было.

Они вернулись в Лозанну вечером: оформление бумаг заняло больше времени, чем обещал доктор. Высадили уставшую Лиду и разморённого Борю напротив гостиницы – они жили вблизи церкви Сен-Франсуа. Наташа тоже выглядела утомлённой, зато Ксана то ли после бодрящего кофе, то ли после отдыха на пляже неожиданно взбодрилась и спать не хотела совсем.

– Давайте я здесь выйду, – сказала она, когда машина поравнялась с площадью Бель-Эйр.

– С ума сошли? – возмутилась Наташа (ну вот опять!). – Это же Флон, опасный район. Здесь одни наркоманы по вечерам ходят.

– Наркоманов я не боюсь. Пусть они меня боятся.

Принимающая сторона вспомнила, что она европейская, и не стала спорить, но с явным неудовольствием притормозила за троллейбусной остановкой «Площадь Шодрон». Опасный Флон уже проехали.

– Если электричества всё ещё нет, звоните. Завтра буду у вас в восемь – отвезём Борю на диагностику, а днём у нас Петербург. Очень капризный, предупреждаю сразу.

Ксана помахала Наташе рукой и пошла будто бы вперёд, по направлению к дому, но как только машина скрылась из виду, развернулась. Она наслаждалась одиночеством – приятное чувство, которое очень скоро пройдёт, как и бывает обычно с приятными чувствами.

Сто лет назад по этой же рю дю Гран-понт шагала Ксеничка Лёвшина; как странно, что их судьбы снова совпали, слились в одну, как сливаются улицы, временно превращаясь в единый проспект, а после снова разбегаются, каждая по своим делам. Улицы Лозанны были как те нитки мулине из детства, – непонятно, откуда какая берёт начало и где решит затянута в узел-тупичок. Ксана помнила город по своим прошлым поездкам: собор, саркофаг Екатерины Орловой, набережная Уши и та дивная аптека, где покупателям дают бесплатные пробники зубной пасты, шампуней и глазных капель. При первой же возможности надо зайти в эту аптеку и купить что-нибудь дешёвое – пластырь или леденцы. А потом можно будет с условно чистой совестью копаться в коробке с надписью *Servez-vous*⁶ и набивать сумку подарками, стараясь не думать о том, как это выглядит со стороны. Зубная паста в Швейцарии просто отличная, как и шампунь, и капли.

Она перешла на другую сторону улицы и столкнулась с мужчиной, до глаз заросшим чёрной бородой. Казалось, он надел маску, как налётчик. Вздогнула, но бородач тут же улыбнулся ей приветливо. Ксана, смутившись, сделала вид, что спешит в сувенирный магазинчик – в витрине сверкали ножи *Victorinox* и коровьи бубенцы с медицинским швейцарским флагом.

Когда-то давно Андрюша просил купить ему швейцарский ножик, но она побоялась: это было и вправду опасно – дарить такому ребёнку нож. А он каждый раз, когда Ксана возвращалась из Швейцарии, бежал проверять чемодан. Серебристой коробочки, невесомой на вид и приятно тяжёлой в руках, там не было, Ксана сочиняла на ходу истории: что нож отобрали в аэропорту, потому что его нельзя провозить в ручной клади, или что у неё закончились деньги, хватило только на шоколад – вот, это тебе... Андрюша разрывал обёртку шоколадки, отламывал дольку и равнодушно жевал. Сейчас он жуёт неравнодушно – еда интересует его в первую очередь. Еда, сон и компьютер. О перочинном швейцарском ноже с крестовой отвёрткой, пин-

⁶ Угощайтесь (фр.).

цетом, скальпелем, шилом, кернером и даже зубочисткой они много лет не вспоминали. И вот теперь этот ножик и его собраты лежат перед Ксаной во всём своём зубастом совершенстве, не только красные, но и чёрные, и синие, и «камуфляжные»... Уставшая за день, но всё ещё любезная продавщица с татуировкой на шее спросила, чем она может помочь, и Ксана, вдруг подавшись минутному чувству, сказала:

– Мне нужен подарок для мальчика.

Дальше был долгий увлечённый диалог. Бессовестная Ксана, не собиравшаяся ничего покупать в этой лавке (да и не было у неё лишних шестнадцати франков), рассказывала продавщице, что мальчик мечтает о синем ноже, но лично ей кажется, что красный лучше – *ведь это классика*. Продавщица со всей серьёзностью возражала, что синий ничем не хуже, вот только у него прозрачный корпус – уверена ли она, что мальчику это понравится? Сколько ему, кстати, лет?

– Пятнадцать, – соврала Ксана. В апреле Андрюше исполнилось двадцать восемь.

Продавщица доставала один нож за другим, демонстрировала возможности каждого – с открытыми лезвиями «викториноксы» походили на странных ошетилившихся тварей. Женщина-продавец и женщина-покупатель (как бы!) обсуждали, впрочем, не столько функции ножиков, сколько их внешний вид. Может быть, мальчику понравится «камуфляжный» корпус? Ах, он пацифист? Да, конечно, сейчас среди подростков это не редкость. Какой у вас, кстати, интересный акцент – вы француженка? Да, я живу в Париже. О, я обожаю Париж! Ну что вы, он сейчас так испортился.

Вдохновенное враньё, как всегда, успокаивало, Ксана сама начинала верить в то, что живёт в Париже и у неё есть сын Андре пятнадцати лет, совершенно нормальный мальчик, которому нужно привезти в подарок швейцарский нож (желательно синий). Наконец продавщица сказала, что нового синего ножа у неё нет, она может достать с витрины, конечно, но не уверена, что отыщет нужную коробочку... Ксана, обрадовавшись, что покупать ничего не придётся, замахала руками: не беспокойтесь, я найду завтра, я и так вас задержала. Да, мы закрываемся, но завтра непременно приходите, я прослежу за тем, чтобы синий нож был в наличии. А я спрошу своего мальчика, может, он согласится на красный? Приятного вечера. И вам того же, до скорого!

Ксана свернула на «свою» авеню и пошла к дому почти что в полной темноте. Слева был парк, мельком заметила ещё вчера вечером. Даже не парк – сквер. Два ряда деревьев, скамейки, скульптура, изображающая коня без всякого намёка на всадника, и матовый свет озера, спокойно лежавшего внизу. Хорошо бы зайти в этот сквер, с удовольствием выкурить вечернюю сигарету (при клиентах Ксана не курила – это никому не нравится), но вдруг вспомнились наркоманы и мужик с бородой. Она без особого удовольствия покурила под фонарём и открыла дверь парадной.

Электричество, к счастью, дали. Вечером квартира выглядела уютной и смутно знакомой, как будто Ксана уже останавливалась здесь когда-то давно, но просто забыла об этом. Послонившись немного по комнатам, вспомнила с досадой, что не купила никакой еды. Лучше бы зашла в супермаркет, чем выбирать нож для выдуманного мальчика. В сумке лежало печенье в разовой упаковке, которое им дали в клинике вместе с кофе – она незаметно припрятала и печенье, и сахар в бумажном пакетике. Вскипятила воду в чайнике, бросила туда сахар. Съела печенье, закусила сушками «Малютка», вот и весь ужин, он же – ответ на любимый вопрос окружающих: как тебе удалось сохранить фигуру?

Чем ближе подступала ночь, тем тяжелее было на душе – это продолжалось последние восемнадцать лет, набежавшие стремительно, как пени на просроченный платёж. Дело здесь даже не в бессоннице, которая выходит из-за штор, как луна из-за туч. Дело в том, что почти каждую новую ночь своей жизни она вспоминает ту давнюю, октябрьскую. И ничего с этим поделать нельзя, прямо как с Андрюшиной болезнью.

Надо бы позвонить домой, но она малодушно решила сделать это завтра. Утром будет легче. Ксана вообще утренний человек. А Швейцария – отличное место для того, чтобы поставить на чём-нибудь крест. И потом, если сможешь, превратить его в плюс.

Восемнадцать лет назад, в сентябре 1999 года, Ксана впервые в жизни приехала в Швейцарию – устроили вылазку вместе с Людовиком, Людо. И почему-то начали ссориться, наговорили друг другу обидных слов ещё в поезде. Людо надулся, замолчал, только усы вздрагивали, ну и курил каждые пять минут, тогда в поездах ещё можно было курить. Ксана делала вид, что читает, она старалась в любую новую страну брать с собой книгу местного автора, так легче проникнуть в здешнюю культуру. Страниц не перелистывала, просто смотрела на одни и те же строчки, пока они не вытатуировались в памяти навсегда: «Прошное уже не тайна, настоящее убого, потому что оно с каждым днём всё изнашивается, а будущее – это старение...» Какой всё-таки умный человек Макс Фриш! Теперь-то она полностью с ним согласна, но та Ксана, которая ехала в поезде Париж – Цюрих, только плечами пожала – её будущее ни о каком старении не слыхивало, там всё залито светом и радостью, аж глазам больно смотреть!

Ксане и её брату Димке с детства внушали, что от стараний человека в его жизни зависит многое, если не всё. Не только в семье так считали, но и в школе, в университете, в газетах, на радио – по всей стране... Будь честным, старательным, трудись – и добьёшься всего, чего желаешь. Никто не предупреждал – в семье, школе, университете, на радио и по всей стране, – что усердные люди совсем не обязательно выкуют себе счастье на этой наковальне. Жизнь, как говорила мама впоследствии, любого достанет, каждому доведётся пролить много слёз, весь вопрос только в том, когда это произойдёт: в детстве, юности, зрелости или старости. И от твоих собственных стараний зависит не так уж и много. Другое дело, что привычка к труду избавляет от многих испытаний: когда у тебя есть дело, ты сколько-то защищён от печалей.

В поезде Ксана всего лишь пожала плечами, ответив таким образом Макс Фришу. Людо, как любой мужчина, записал этот жест на свой счёт:

– И что ты этим хочешь сказать? Ксенья, не делай вид, что читаешь, ты ни одной страницы не перевернула, а мы уже на границе.

Тогда ещё надо было проходить границу в Базеле. Дорожные хлопоты на время как будто бы примирили их с Людо, но в Цюрихе начавшая утихать ссора разгорелась по новой. Людо в конце концов замолчал и даже усами не дёргал. Ксана заставляла себя разглядывать мемориальные доски, фотографировала опрятных лебедей-попрошайек, считала часы в витринах – и часы, оставшиеся до обратного поезда в Париж. Цюрих был не виноват в том, что она невзлюбила его с первой минуты, этот город просто попался под руку, но, хотя столько лет уже прошло с той поездки, Ксана по-прежнему избегает новых встреч с ним. И с Людо, который по сей день пишет ей, особенно если выпьет за ужином не один бокал, а целых три: «Я ведь жениться на тебе хотел. Я бы увёз тебя из России, если бы ты вела себя как нормальный человек». Я, я, я. Типичный *moi-je* – так французы называют любителей поговорить о себе. О России он только и знал, что граждане этой страны мечтают главным образом о том, чтобы стать гражданами другой страны, например Франции. В Париж она тогда вернулась измотанной, злой, как будто не в Швейцарию ездила, а оттрубила подряд две смены на урановом руднике. «Как вы отдохнули?» – спросила консьержка, и Ксана честно сказала: «Отдохнули хорошо, вот только устали очень». – «О-ля-ля!» – «Не надо ля-ля, и так тошно».

Людо съехал с квартиры через неделю, а Ксана вернула хозяину ключ и улетела в Екатеринбург.

– Ты как чувствуешь, что здесь неладно, – ахнула мама, встретив её на пороге ранним утром. – Эта пьёт с утра до ночи, ребёнок у нас, Димка целыми днями работает, я его не видела почти столько же, сколько тебя.

Обнялись. С годами мама стала ласковее, хотя прикосновений – даже близких людей – по-прежнему не любила. Но как-то научилась с ними мириться, правда, всякий раз вздраги-

вала, если до неё дотрагивались. Заспанный Андрюша вышел в коридор, пижамные штаны у него были мокрыми.

– Бабушка, ну вот, я опять не сдержался. О, Сана! Привезла ножик с крестиком?

Пока меняли Андрюше постель и разбирали чемодан, рассвело. Был красивый октябрьский денёк, в квартире пахло яблоками – сорт «мельба», сказала мама. Кто-то из коллег угостил. Яблоки лежали на полу, на расстеленных газетах, целое плодовое войско, с которым *надо что-то делать*. Тонкий свежий аромат заполнял квартиру, как музыка.

Тот год был яблочным – дома чуть ли не каждый день появлялся новый пакет. Жёлтые, красные, шафрановые, кислые, сладкие, душистые. Ешьте скорее, они не хранятся. В варенье можно добавить черноплодную рябину, а в шарлотку – грецкие орехи и корицу. Спасибо, что помогаете справиться с урожаем! Когда вечером в дверь позвонили, Ксана была почти уверена, что это «приехали» очередные яблоки. Открыла дверь с благодарной улыбкой – и увидела Иру Тараканову. Маленькую, тощую, суровую.

– Приехала, значит, – сказала Княжна, деловито отстраняя Ксану и проходя в квартиру. – А Димка у вас?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.